

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ТЮМЕНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ОСВОЕНИЯ СЕВЕРА
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

М. Г. ГАНОПОЛЬСКИЙ

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТОС:
ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ**

Монография

Тюмень
Издательство
Тюменского государственного университета
2018

УДК 94(571.120)
ББК ТЗ(2Рос-4Тюм)-7
Г193

Автор:

М. Г. Ганопольский — доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института проблем освоения Севера ФИЦ Тюменский научный центр СО РАН

Ответственный редактор:

В. И. Загвязинский — академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, заведующий академической кафедрой методологии и теории социально-педагогических исследований Института психологии и педагогики Тюменского государственного университета

Рецензенты:

А. Г. Еманов — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой археологии, истории Древнего мира и Средних веков Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета

Н. И. Губанов — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и истории Тюменского государственного медицинского университета

Ганопольский, М. Г.

Г193 Региональный этос: историко-географический контекст и социокультурная трансформация : монография / М. Г. Ганопольский ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФИЦ Тюменский научный центр СО РАН, Институт проблем освоения Севера, Тюменский государственный университет. — Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2018. — 152 с.

ISBN 978-5-400-01514-4

Монография посвящена исследованию нравственной истории северных сибирских регионов, сформировавшихся в ходе нового индустриального освоения. Эта история понимается не как история нравов или же летопись нравственной жизни во всем ее эмпирическом многообразии, а как становление и развитие регионов под воздействием вполне определенного нравственного импульса, имеющего специфическую родословную. В фокусе исследования один из сибирских регионов — Тюменская область. Происходящее на Тюменской земле стало для автора источником опыта, живых наблюдений и последующих теоретических обобщений и вместе с тем самостоятельным, единичным, уникальным объектом изучения.

Адресована научным работникам, преподавателям вузов по широкому спектру социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин.

УДК 94(571.120)
ББК ТЗ(2Рос-4Тюм)-7

ISBN 978-5-400-01514-4

© Тюменский государственный университет, 2018
© Ганопольский М. Г., 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
Глава 1. КОНТУРЫ ПРОБЛЕМЫ	13
§1. Было ли освоение новым	13
§2. Было ли освоение индустриальным	14
§3. Региональная общность	16
§4. Человек на своем месте	18
§5. Уроки географии	19
§6. Уроки этики.....	23
§7. Этика организаций.....	26
§8. Уроки организации	29
§9. Уроки проектирования	32
Глава 2. ЭТОС.....	37
§1. Индустриальная прелюдия.....	37
§2. Реабилитация	42
§3. Родословная.....	47
§4. Алгоритм эволюции	52
Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ.....	59
§1. Типология организационных структур	59
§2. Организационная анатомия морали.....	63
§3. Предпосылки самоорганизации	70
Глава 4. ОСВОЕНИЕ.....	77
§1. Внедрение.....	78
§2. Образование и наука.....	80
§3. Техника и технология	87
§4. Колонизация.....	91
§5. Север.....	97

Глава 5. РЕГИОН	101
§1. Территория	102
§2. Организация	104
§3. Обустройство	107
§4. Моральный износ	111
§5. Контакт вместо контракта	115
§6. Постиндустриальная трансформация	120
Глава 6. ПЕРСПЕКТИВЫ	126
§1. От дискретности к предельному переходу	127
§2. Беспредел	128
§3. Конец географии	130
§4. Тюменские параллели	132
§5. Экологический императив: устойчивое развитие	134
§6. Арктическая политика	140
§7. Этос и этнос	142
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	146
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	148

| ПРЕДИСЛОВИЕ |

Данная работа представляет собой попытку исследования *нравственной истории* северных сибирских регионов, сформировавшихся в ходе нового индустриального освоения: не истории нравов и тем более не истории нравственной жизни во всем ее эмпирическом многообразии, а процесса становления и развития этих регионов под воздействием вполне определенного нравственного импульса, имеющего специфическую родословную. В фокусе авторского внимания один из таких регионов — Тюменская область. Причем не только как источник опыта, живых наблюдений, своего рода объект-представитель теоретического анализа и последующих обобщений, но и как вполне самостоятельный, единичный — и в этом смысле уникальный — объект изучения.

Такого рода попытка может выглядеть достаточно рискованной в методологическом отношении. И если методологический пуризм в отношении логики единичного отчасти преодолен в отечественном общественном знании, то этическое исследование локальных феноменов нравственности все еще рассматривается как покушение на традицию, выход за пределы предметного поля научной этики. То, что является само собой разумеющимся при эмпирическом анализе, — а именно, изменение форм нравственности от места к месту — в лоне этической теории по-прежнему требует специальных оговорок. С другой стороны, социальное познание привычно квалифицирует тенденции научно-технического прогресса, индустриальной динамики, урбанизации как нравственно нейтральные. Оно трактует мораль

либо как личное переживание, либо как публичный антураж социального действия, но не как его основание. Поэтому попытка расширить рамки нравственной детерминации и увидеть в морали порождающую основу не только традиций, но и намеренно создаваемых социальных институтов и организаций может показаться чрезмерной.

И все же подобный подход имеет определенные основания. Историко-философский анализ убеждает, что системный характер индустриального действия подготовлен системностью рационального знания. А эта системность, в свою очередь, вырастала из *этических синтагм* — всеобъемлющих жизнеучений, где «первоначала бытия оказываются не стихиями сущего, предданного предметного мира, а стихиями и бытия, и логоса, и номоса, и этоса»¹. Как мы попытаемся показать, определенная аналогия развития от этических синтагм к промышленному облику региона имеет место и при новом индустриальном освоении.

Артикуляция нравственных начал любой деятельности характерна и для социально-философских воззрений отечественных мыслителей. «Только кажется, — писал Л. Н. Толстой, — что человечество занято торговлей, договорами, войнами, науками, искусствами; одно дело только для него важно, и одно только дело оно делает — оно уясняет себе те нравственные законы, которыми оно живет. Нравственные законы уже есть, человечество только уясняет их себе, и уяснение это кажется неважным и незаметным для того, кому не нужен нравственный закон, кто не хочет жить им. Но это уяснение нравственного закона есть не только главное, но единственное дело всего человечества»². Данное высказывание можно рассматривать как эпиграф и как выраженную художественно-публицистическими средствами методологическую позицию, близкую к той, на которую будет опираться наша работа.

¹ Огурцов А. П. Дисциплинарная структура науки. М., 1988. С. 124; он же. Этос науки и риторика // Личность. Культура. Общество. 2005. Вып. 3 (27). С. 107–135.

² Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. М., 1983. Т. 16. С. 210.

Какие же нравственные законы уяснились теми, кто начинал в середине XX века индустриальное наступление на слабозаселенные территории к северу от Транссиба? Что скрывается за словами *новое индустриальное освоение*? Несмотря на то, что выражение это со временем превратилось в пропагандистский штамп, проблематизация его все же возможна. Прежде всего в силу уникальности совпадения *очередной индустриализации* и *очередного освоения*. Ко времени начала промышленной эксплуатации тюменских месторождений нефти и газа страна пережила целую серию индустриализаций, испытала себя в войне как индустриальная держава, индустриальными методами осуществляла ядерную и космическую программы. Сибирь в эти годы стала своеобразным инженерным центром по проведению индустриального эксперимента в натуральных условиях. Не на локальных, специально для этой цели созданных объектах, окутанных подчас дымкой военной и государственной тайны, а в массовом порядке на огромных территориях. Впервые в отечественной истории индустриальное развитие соответствовало критериям естественного процесса, по крайней мере, с точки зрения преимущественно ненасильственного характера и относительной самобытности.

В свою очередь, история России в соответствии с позабытым, а теперь возрожденным парадоксальным тезисом — это во многом ее география, это история колонизаций — освоенных, зачастую явно насильственных. Как отмечал В. О. Ключевский: «История России есть история страны, которая колонизируется. Область колонизации в ней расширялась вместе с государственной ее территорией»³. Колонизация, выступая вначале как присоединение территорий, как расширение пространства страны за счет внешних владений (идеологемой такого привычного захвата «ничьих» территорий в отечественном варианте стало *простираание*), всегда предполагала их адекватное культурное и хозяйственное присвоение. Уникальность же крупномасштабного наступления на слабозаселенные территории к северу от Транссиба в том, что здесь впервые

³ Ключевский В. О. Русская история: полный курс лекций: в 3 кн. М., 1993. Кн. 1. С. 20.

географический фактор естественным образом (и без значимых социальных опосредований) обретал индустриальные черты.

Впрочем, итоги этого уникального совпадения индустрии и освоения известны. Сибирь, став полигоном грандиозного эксперимента, не только задала индустриальный стандарт всему обществу, но и первой отреагировала на его неспособность в полной мере следовать этому стандарту. В итоге страна, словно ослабленный индустриальный гигант, увязла в тюменских болотах, хотя именно там рассчитывала получить очередную ресурсную подпитку. Тем самым послевоенный этап интенсивного и масштабного освоения северных сибирских регионов помимо воли тех, кто связывал с ним определенные экономические, политические и социальные ожидания, реализовал совершенно иную программу.

Менее известен и теоретически трудно вычленим человеческий смысл происходящего. Иной раз кажется, что он утерян в *безличной* схеме индустриального действия на новом месте. Между тем, новое освоение не только изменило облик этих мест, но и привело к возникновению крупных поселенческих образований. Их отличительной чертой стало то, что индустриальная внеличностная основа предшествовала обживанию территории. Она не вырастала из социальной среды естественным образом, не имплантировалась в нее извне, не становилась (на этот раз) системой внешнего насилия, а выступала как утопическая программа-призыв и одновременно как мощная адаптационная машина. По сути дела, речь может идти об особом механизме становления полиэтнических сообществ, способных интегрироваться в региональные общности индустриального типа. Ведь в ходе естественной трансформации поселений, имевших утилитарное индустриальное назначение, произошла переоценка отношения к среде обитания, к коренным народам, издавна населявшим эту землю, к традиционным методам хозяйствования. Переосмысление, точнее столкновение смыслов, способствует их проявлению. В такой ситуации стала возможна реконструкция культурных схем, аккумулирующих человеческий смысл и человеческий опыт индустриального освоения территории. Это побуждает исследовать вновь возникшие региональные образования не только социологически (с точки зрения скрепляющих их социальных институтов), но и этически. То есть

увидеть в нравственности не одни лишь высоты человеческого духа, не только первоначальный творящий импульс, но и повседневное «вещество сплочения», позволяющее массам людей сосуществовать на добровольной основе и находить взаимопонимание в рамках трудового процесса и за его пределами.

* * *

Слово *этнос*, входящее в название работы, ключевое в авторском замысле. Еще сравнительно недавно полузабытое и малознакомое, оно становится все более популярным в этическом и социологическом лексиконе. Причем благодаря синхроническому смешению значений являет себя сразу в нескольких ипостасях: как своеобразный реликт античной классики, давший название этике, как латентно существующий в культуре нормативно-ценностный комплекс и как вполне современный актуальный термин.

В нечеткости воспроизведения полузабытого понятия, в нестрогости его применения, рассчитанной на интуитивное понимание, есть определенное преимущество, особенно в тех случаях, когда речь заходит о темах неосвоенных, непроговоренных. И все же в предпринятом исследовании хотелось бы воздержаться от конструирования дополнительных смыслов и сосредоточиться на поиске инвариантного смыслового содержания этноса.

Становление и развитие регионального этноса (как особого социокультурного феномена) рассматривается в контексте эволюции социального пространства районов нового индустриального освоения: от территории — к региону, от организации — к общности. Попытка осмыслить нравственное измерение этой эволюции, опираясь на понятие, пришедшее из другого времени и другого места, требует соответствующего обоснования. Поэтому и необходим экскурс в родословную этноса, чтобы показать, как уже изрядно подточенный рациональными организациями он пришел в нашу культуру в качестве незримого придатка мощной индустриальной программы.

Хотя в центре рассмотрения находится вполне определенный объект, работа не направлена лишь на фиксацию этноса конкретного региона. Дело в том, что в северных сибирских регионах (и, может

быть, в наибольшей степени в Тюменской области) болезненно обнажен ряд проблем сквозного характера, в той или иной мере свойственных отечественным регионам любого уровня и масштаба. Многие из них приобрели акцентированное нравственное звучание в связи с последствиями интенсивного индустриального освоения. В данном смысле избранный объект не является фрагментом на глобусе нравственной жизни, а становится ее голографической моделью. Поэтому и регион — это не синоним территории, а социокультурное пространство, сформировавшееся, конечно, как часть географической среды в определенных административных рамках, но главным образом на основе организационно-технологической схемы индустриального освоения.

Рассмотрение этоса в качестве коррелята организации позволяет проследить взаимообусловленную эволюцию этих феноменов в контексте рационализации культуры. Здесь основное место принадлежит гипотезе об алгоритмическом «извлечении» морали из этоса. Ее развитием служит типология организационных структур, которая позволяет по-новому взглянуть на этико-организационные проблемы. Тем самым открываются возможности этической интерпретации социальных организаций на основе взаимодействия структуры, коммуникации и информации.

Эволюция регионального этоса связывается со стадийным процессом смены нравственных парадигм в развитии региона. В работе отражена схема взаимоперехода нравственной установки и социальной организации, основанная на методологии синергетического подхода, что позволяет трактовать постиндустриальный этап общностной интеграции с эволюционных позиций.

* * *

Проблематика регионального этоса не является собственно этической, она сформировалась на пересечении целого ряда проблем, традиционно относящихся к различным отраслям знания: географии, истории, этнографии, социологии... В исследовании специфики социальных и нравственных процессов в северных сибирских регионах с самого начала сложилась парадоксальная

ситуация, чем-то напоминающая новизну и неординарность массивного индустриального наступления на Север. С одной стороны, уникальность происходящего на этой земле не могла остаться вне поля зрения исследователей, с другой, — пресловутый (и неизменно критикуемый) отрыв теории от практики усугублялся дополнительным зазором между «академизмом» общесоциальных проблем и «эмпиризмом» проблем региональных.

Инициаторами преодоления этого зазора стали представители различных областей знания. Динамизм социальной ситуации способствовал тому, что в Тюменской области почти ежегодно проводились конференции, семинары, симпозиумы, посвященные различным, в том числе и социально-нравственным, аспектам регионального развития. Их инициаторами были исследователи из вузов и научных центров, сформировавшихся в контексте интенсивного индустриального освоения региона. Конечно, нельзя не напомнить о дополнительных, а может быть, самых существенных трудностях того периода, связанных с трафаретностью социального мышления, с его идеологической зашоренностью. И все же многие философы, социологи, экономисты, представители других областей знания видели свое призвание не в выполнении сервильных функций, а в адекватном воссоздании научными и проектными средствами регионального своеобразия экономических, социальных и нравственных процессов.

Возможно, поэтому внимание исследователей концентрируется в эти годы на особенностях социальной и нравственной жизни трудовых коллективов районов нового промышленного освоения. Они в меньшей степени были подвержены идеологическому влиянию, их отличали динамизм, критичность в оценке социальной ситуации. Трудовой коллектив оказался оптимальным объектом прикладных этических исследований морально-психологического климата, процессов нравственного воспитания, специфики трудовой и профессиональной морали. Проблемам коллективного нормотворчества был посвящен ряд деловых этических игр, получивших тогда широкое распространение и заслуженное признание. На этой почве происходило сближение этического и социологического подходов в изучении региона как складывающегося социокультурного образования.

С конца 1980-х годов расширяется ракурс видения региональных нравственных проблем. Становится очевидной необходимость их рассмотрения в более широком ценностном контексте. Этико-прикладной подход трансформируется в концепцию гуманитарной экспертизы, где этическое знание по-прежнему выполняет системообразующую роль⁴. Именно в рамках этой концепции и произошло конституирование проблематики регионального этоса. Оно стало естественным развитием теоретической позиции автора, обобщением опыта его работы в ряде научных и проектных коллективов, ориентированных на регион. При этом автор явно или неявно придерживался того методологического, теоретического и организационного стандарта, который был принят в них в качестве исследовательской установки; использовал инструментарий, позволявший сочетать индивидуальное творчество с технологией коллективной деятельности.

Сквозь призму этих установок и происходил отбор подходов, точек зрения, информации, которые так или иначе воплощены в работе. В этих материалах на региональном уровне зачастую поднимались проблемные вопросы, которые в дальнейшем становились предметом обстоятельного анализа, на общесоциальном уровне. С другой стороны, как любое гуманитарное исследование, работа опирается в качестве источников не только на непосредственные научные контакты, не только на труды современников и соотечественников, но и на классическое философское и общенаучное наследие, на определенный круг идей, входящих в интеллектуальный каркас цивилизации.

И конечно же, эта книга никогда не была бы написана, а весь перечисленный инструментарий не понадобился, если бы смысл индустриального освоения, как и всего происходящего на Тюменской земле, только бы изучался автором, а не переживался в силу естественной подстановки в контекст ситуации.

⁴ Гуманитарная экспертиза: Возможности и перспективы. Новосибирск, 1992; Ценностные основания развития приполярных регионов // Западная Сибирь — проблемы развития. Тюмень, 1994.

Глава 1

| КОНТУРЫ ПРОБЛЕМЫ |

Философская традиция предписывает в самом начале исследования поставить под сомнение те вопросы, которые при иной (нефилософской) постановке могли бы рассматриваться как самоочевидные. Когда речь заходит о северных сибирских регионах, сформировавшихся в ходе нового освоения, то под прицел философского скепсиса попадает целый ряд моментов как предметного, так и методологического плана. Попробуем наметить, а затем эскизно развернуть те из них, на которые так или иначе откликается наша работа.

Итак, в каком смысле можно говорить о новом освоении? Действительно ли выдерживался в данном случае индустриальный стандарт? Правомерно ли ставить вопрос о формировании региональной общности или, по крайней мере, компактных сообществ индустриального типа? Каковы пути и критерии их общностной интеграции и постиндустриальной трансформации? Вот лишь краткий перечень вопросов, относящихся к предмету исследования.

§1. Было ли освоение новым

Ко времени начала освоения территорий, лежащих к северу от Транссиба, эта часть страны даже по сибирским меркам была очень слабо заселена. Обширные территории считались непригодными для жизни. По ним действительно не ступала

нога человека. И все же освоение было новым не с точки зрения присоединения к обжитым районам некогда безлюдных пространств. Формальная колонизация их уже состоялась. Но тогда расширение пространства страны за счет внешних владений рассматривалось вначале как *простирание*, а затем уже как присвоение и хозяйственное освоение. Хозяйственную деятельность периода первичной колонизации трудно назвать настоящим промышленным производством. Это было или традиционное хозяйство коренных народов, или промыслы старожильского населения. Конечно, в большинстве северных регионов издавна заготавливалась древесина и даже осуществлялась ее первичная переработка. Но о подлинном промышленном освоении лесных массивов на территории Тюменской области можно говорить только после ввода в эксплуатацию железных дорог Ивдель–Обь и Тавда–Междуреченск. Это произошло только в 1960 году и по времени почти совпало с началом освоения нефтяных и газовых месторождений. В последнем же случае речь шла о массивном наступлении на все пространство (практически без изъятий), о его вовлечении в хозяйственный оборот совершенно иными методами, о непосредственном контакте индустриального и географического подпространств. Тем самым новизну освоения правильнее всего трактовать именно в индустриальном смысле.

§2. Было ли освоение индустриальным

Сомнения в индустриальном характере освоения достаточно часто высказывались и за рамками философского дискурса. Что же стояло за ними? Как правило, не беспристрастный анализ «необходимых и достаточных признаков индустриальности», а эмоциональный всплеск, негативное отношение к первым последствиям освоения, оценка применявшихся методов как нецивилизованных, варварских и, в этом смысле, не индустриальных. То есть с индустриальностью в общественном сознании связывался целый ряд завышенных, по сути дела, утопических представлений о производственных и социальных технологиях, об организованности, дисциплине, продуманности решений.

Поэтому столь контрастно по отношению к пафосу покорения Севера стали оценивать оборотную сторону индустриального стандарта, а именно — губительные последствия для хрупкой и ранимой северной природы, для традиционных форм жизни коренного населения и, в конечном счете, — для тех, кто приехал осваивать Север в качестве добровольных агентов производственных и социальных технологий, а затем стал их заложником.

Как же обстояло дело с организацией освоения тюменских нефтяных и газовых месторождений? Соответствовало ли оно индустриальному стандарту? Конечно, в таком массивном броске на Север нельзя было все детально учесть — многое свершалось стихийно, без должной проработки. И все же основные параметры освоения были спланированы и спроектированы. В планах не содержалось никакого намека на варварство, над проектами работали десятки солидных учреждений, тысячи квалифицированных специалистов. Но совместимыми оказались высокая квалификация, творческая самоотдача, точный инженерный расчет (что там еще?) и ... варварство.

Сотни тысяч людей приехали осваивать Север. Кто за длинным рублем, кто за славой, кто за смыслом жизни... Как бы то ни было, вряд ли они считали себя варварами. Но добровольность, энтузиазм, романтика неустроенности, желание начать новую жизнь на новом месте не исключали варварства, а в какой-то мере предопределяли его. Ибо варварство не совершается ради себя самого. Лозунги его благородны. Но это нашествие чужой культуры, пораженной глубоким внутренним разладом.

Если попытаться как-то преодолеть «обвинительный уклон» и разобраться в данном вопросе беспристрастно, то нельзя пройти мимо трех основных аспектов индустриального этоса.

Во-первых, это изначальность экспансионистских тенденций, присущих индустриализму в лоне его зарождения и развития (западноевропейская версия индустриальной колонизации отсталых народов, попытка их насильственного приобщения к цивилизации).

Во-вторых, специфические социальные и культурные параметры целой череды отечественных индустриализаций (как правило, насильственных).

В-третьих, уникальный характер послевоенного индустриального освоения в северном сибирском исполнении.

Отсюда и необходимость специального рассмотрения истоков нового индустриального освоения — своего рода «индустриальной прелюдии».

§3. Региональная общность

Обратимся теперь к вопросу о правомерности трактовки региона, возникшего в процессе нового индустриального освоения, как особого типа общности. Действительно, грандиозное по своим масштабам и по интенсивности наступление на слабозаселенные территории привело к формированию в короткий исторический отрезок времени крупных поселенческих образований. Каков их социокультурный статус? Можно ли говорить о специфических общностных процессах, о начале становления социально-территориальных общностей?

До недавнего времени в социологии (особенно отечественной) было принято выделять лишь исторические типы общностей (племя, народность, нация). Географический аспект их существования словно находился в тени исторического. Конечно, интерес к тому, как связан образ жизни людей с местом их жительства всегда существовал. Но в какой научной традиции он воплотился? Во времена крестовых походов, а затем и великих географических открытий он трансформировался в своеобразный этнографический интерес путешественного европейца к тому или иному сообществу как к очередной забавной курьезности. Кстати, и этот интерес также подгонялся под рамки исторического измерения (отсталые народы, неразвитые культуры и т. п.). Таким он и пришел в социологию.

Внимание к общностям территориальным, поселенческим приобрело концептуальную форму только в американской социологии. Возможно, североамериканские сообщества, образовавшиеся в результате миграции и решавшие задачи совместного проживания методами социальной сборки, через несколько

поколений испытали потребность в общественном самосознании⁵. В этом смысле обилие социологических концепций, их теоретическая пестрота могут рассматриваться как отклик на эту потребность или даже как фактор, способствующий ее дополнительной актуализации.

Нечто подобное характерно и для поселенческих сообществ, возникших на слабозаселенных сибирских территориях. И признаками общности могут быть в данном случае не только совместное проживание, производственная, экономическая, политическая и иные взаимозависимости, но и наличие элементов самосознания, закрепленных в региональном этосе.

На какой же основе происходит общественное сплочение?

Как будет показано в дальнейшем, первичной формой сцепления популяции становится организационно-технологическая матрица производства–заселения. Технологические цепочки производства и уподобленные им социальные технологии пронизывают все основные сферы жизнедеятельности. Очеловечивание техничных уз сцепления — это своего рода постиндустриализация на региональном уровне. Вначале она происходит по месту работы, в трудовом коллективе и, в значительно меньшей степени, по месту жительства. Да и место жительства — это зачастую ведомственный поселок со спроецированной на него производственной структурой. На данном этапе индустриальный этос подавляет этос поселенческий до такой степени, что они почти неразличимы.

Но это в основном институциональная сторона процесса, которая предполагает общественную самоорганизацию, но не гарантирует ее. Существующие концепции самозарождения общности сводятся к двум объяснительным версиям, имеющим к тому же черты взаимного сходства: модель харизматического господства М. Вебера и теория этногенеза Л. Н. Гумилева. Мы не будем подробно излагать эти версии и тем более как-то сравнивать их между собой, а лишь покажем, что в интересующем нас

⁵ См.: Лернер М. Развитие цивилизации в Америке: в 2 т. М., 1992. Т. 1. С. 6–8.

случае они объясняют лишь начальные моменты формирования локальных коллективов, а рождению региональной общности предшествуют процессы несколько иной природы.

§4. Человек на своем месте

Так обычно говорят о человеке, который занят делом, соответствующим его склонностям и способностям. Но так можно сказать и о том, кто выбрал место жизни и работы сознательно и считает это место своим. И в том и в другом случае нравственный смысл отношения Человек — Место не афишируется, но предполагается свободой волеизъявления.

Тогда стоит отвлечься от индустриального характера освоения, технологических способов сцепления популяции и посмотреть на проблему в ее человеческом, нравственном измерении; попытаться теоретически воссоздать социально-нравственную ситуацию, складывавшуюся в Тюменской области, особенно в северной ее части, куда большинство людей приехало жить, чтобы работать, а потом осталось работать, чтобы жить.

Но отвлечься не так просто. Если посмотреть на проблему исторически, то выясняется, что предки нынешних ненцев, ханты, манси — самодийцы — пришли в Нижнее Приобье и стали продвигаться на Север в III–IV веках, так что адаптация этих народов к северным условиям происходила в течение 80–90 поколений. В течение 20 поколений адаптировались в северных широтах потомки первых русских переселенцев. А вот «адаптация» покорителей нефтяных и газовых недр произошла в пределах одного поколения. И тут свою роль сыграл неизвестный ранее в этих местах посредник между человеком и природой — индустриальная организация. Она становится новой искусственной средой обитания, и необходимо понять, чувствует ли себя в ней человек на своем месте.

С другой стороны, территориальный взгляд на нравственную проблему предполагает определенную расчистку проблемного поля в границах по крайней мере двух наук — географии и этики. Между тем география, предмет которой, по классическому опре-

делению, — различия от места к месту, как-то перестала (на этом месте) замечать человека⁶. А научная этика, если иметь в виду ее античную родословную, уже с момента своего возникновения интересовалась преимущественно человеком вне места (а значит, без места), т. е. неким утопическим *человеком вообще*.

§5. Уроки географии

Отечественные географы порой с тревогой говорили о своей науке как о «чуть было не онемевшей»⁷. сетовали на отказ в признании за ней статуса фундаментальной, на идеологическую цензуру. И это при том, что престиж географии в отечественной культуре всегда был достаточно высок. Привлекательным благодаря своей универсальности является и современное географическое образование. Оно не сужает для человека диапазон дальнейшего выбора, а подчас помогает обрести призвание в очень широком спектре возможностей. Окончивший географический факультет способен освоить путем естественного доучивания множество специальностей, как говорил Н. Н. Баранский, — «от геологии до идеологии». Правда, в устах выдающегося географа эти слова относятся скорее не к сложносоставному предмету науки, а к свойственному ей универсальному, объединяющему методу познания.

С этим методом и связаны основные уроки, которые извлекла для себя за последние годы отечественная география. Прежде всего, в части реабилитации географического мышления в том смысле, который имел в виду Баранский, когда подчеркивал, что «это мышление, во-первых, привязанное к территории, кладущее свои суждения на карту, и, во-вторых, связанное, ком-

⁶ «Человека забыли!!!» — восклицал по этому поводу Н. Н. Баранский и с сожалением констатировал: «Человек — тема для наших географов определенно неприятная, щекотливая, тема, которой предпочитают не касаться» (Баранский Н. Н. Избр. труды. Научные принципы географии. М., 1980. С. 26).

⁷ Родоман Б. Б. Уроки географии // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 36–47.

плексное, не замыкающееся в рамках одного “элемента” или “отрасли”...»⁸.

Следующий шаг — реабилитация хорологического подхода в качестве методологической основы для обоснования географии. Основы данного подхода были заложены И. Кантом (в течение сорока лет преподававшим физическую географию) в его трехмерной классификации наук. Полтора века спустя знаменитый географ А. Геттнер вслед за И. Кантом предложил аналогичную классификацию. Схема Канта–Геттнера различает следующие типы наук: 1) сущностные, предметные, систематические, классифицирующие; 2) временные, хронологические, исторические, периодизирующие; 3) пространственные, хорологические, топографические, районизирующие⁹. Классификация оказалась достаточно продуктивной, во всяком случае, позволяла наукам иметь двойное, а то и тройное гражданство. Тем не менее она постоянно была объектом критики. Так, в советское время концепция Геттнера всякий раз оказывалась в центре дискуссий в переломные моменты становления географической науки¹⁰. Досталось ее приверженцам за отрыв материи от пространства, пространства — от времени и т. д. В период наклеивания политических ярлыков упреки в «геттнерианстве» были равносильны обвинениям в «буржуазности»¹¹.

Что же дает реабилитация хорологического подхода знанию о нравах и нравственности? Во-первых, она хоть как-то восстанавливает в правах антропогеографию, практически уничтоженную в нашей стране в ходе бурных дискуссий в 1930-е годы. Человек как объект исследования в прямом смысле обретает землю под ногами. И антропологические науки не могут это проигнорировать. Тем самым устраниются ведомственные (дисциплинарные)

⁸ Баранский Н. Н. Экономическая география. Экономическая картография. М., 1956. С. 136.

⁹ См.: Геттнер А. География, ее история, сущность и методы. Л.; М., 1930; Исаченко А. Г. Развитие географических идей. М., 1971.

¹⁰ См.: Поросенков Ю. В., Поросенкова Н. И. История и методология географии. Воронеж, 1991.

¹¹ Там же. С. 104.

препоны в развитии этической регионалистики. Во-вторых, открывается возможность с единых пространственных позиций рассмотреть локальные феномены нравственности, в особенности те из них, которые, будучи «привязаны» к территории, имеют четко выраженную «организационную оболочку».

Еще один урок в какой-то степени вытекал из предыдущих и состоял в том, чтобы в соответствии с тенденциями современного науковедения «не заикливаясь на объекте науки», а «обратиться к ее субъекту — своеобразно мыслящему ученому», «искать не границы наук, а их центры — наукопорождающие идеи, методы, парадигмы»¹². Мировая география давно продемонстрировала подобные образцы. Поучительна в этом отношении подборка очерков, в которых видные географы из разных стран размышляют о призвании, о стилях научных школ, о своем восприятии географической реальности¹³. К сожалению, такого рода рефлексия как важный элемент формирования этоса того или иного научного сообщества недостаточно культивировалась у нас в стране, а в последнее время вкус к ней и вовсе утрачен.

Если же с этих позиций посмотреть на уроки географии, то они не только способствуют самокритике в среде географического сообщества, но и открывают его для внешней критики. Поэтому часто цитировавшаяся географами фраза их коллеги Ю. Б. Липеца: «Полезно от географии в том, что она меньше других наук навредила», — эффективна, утешительна, но не конструктивна. Дело ведь не в подсчете вреда, нанесенного природе и обществу каждой из наук, поскольку принцип *не навреди* — основа деонтологии при любом научном вмешательстве. Просто многое из того, что еще недавно ставилось науке в заслугу, может теперь осознаваться как ее вина.

Так, одним из уроков географии последнего советского десятилетия стала констатация того, «что стратегия территориального развития современного общества проработана еще хуже, чем общая

¹² Родоман Б. Б. Уроки географии // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 37.

¹³ Баттимер А. Путь в географию. М., 1990.

стратегия социального и экономического развития...»¹⁴. Вина за это возлагалась как на политико-экономическую практику, так и на дисциплины регионально-экономического и географического круга. Между тем, географическая наука уже с первых лет советской власти активно подключилась к вопросам районирования страны. Были выработаны принципы такого районирования, на которые ориентировался Госплан. Они же вошли составной частью в методологию экономической географии¹⁵. Определенных практических успехов добилась география и в послевоенный период, особенно на рубеже 50–60 годов XX века. Однако уже через десятилетие «интерес к проблемам интегрального районирования был потерян настолько, что реальная экономическая ситуация подчас ставила под сомнение саму объективность существования районов»¹⁶.

Именно в этот период название *региональная наука* закрепилось за направлением исследований, основателем которого был американский экономист У. Изард¹⁷. Оно возникло как развитие хронологического подхода и представляло собой синтез некоторых традиционных дисциплин, предметом которых стали пространства, регионы, локации.

С адаптацией региональных концепций произошло нечто подобное тому, что, как мы увидим, имело место при адаптации организационных моделей зарубежных социологических школ. Вначале они критиковались по идеологическим соображениям; затем в них пытались найти истоки, связанные с приоритетной ролью отечественных ученых; вслед за этим они активно пропагандировались уже в выхолощенном виде.

Тем не менее практика освоения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции оказалась наименее идеологизированной.

¹⁴ Грицай О. В., Иоффе Г. В., Трейвиш А. И. Центр и периферия в региональном развитии. М., 1991. С. 8.

¹⁵ См.: Экономическая география в СССР: история и современное развитие. М., 1965. С. 62–65.

¹⁶ Поросенков Ю. В., Поросенкова Н. И. История и методология географии. Воронеж, 1991. С. 199.

¹⁷ См.: Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. М., 1966.

Так случилось в силу целого ряда уникальных совпадений как исторического, так и географического характера. Это и обстоятельства административно-территориальной перекройки, которые привели к созданию Тюменской области, и ее физико-географическое районирование, и госплановская методология экономико-географического обоснования развития и размещения производительных сил, и проекты послышного индустриального освоения территории, т. е. последовательного возведения взаимосвязанных техногенных подпространств, и, наконец, драматичная ситуация их расслоения и разрыва.

Здесь содержится, может быть, один из самых серьезных уроков, преподанных действительностью не только географии или же этике, но и науке вообще. Впрочем, из него не следует, что надо превратить этику, географию или, допустим, биологию в науки-тормоза, науки-ограничители, табуирующие продуктивную человеческую деятельность (хотя такая ограничительная функция им присуща). Очевидный вывод в другом — научиться разговаривать с Пространством на его языке.

§6. Уроки этики

Если не задаваться вопросом о принципиальной возможности картографирования нравственности, то на подступах к обозначенной теме априори можно выделить три уровня детализации: 1) глобальный, сосредоточенный на проблемах общепланетарного характера; 2) страноведческий, ориентированный на специфику отдельных стран и регионов; 3) локальный, связанный с культурной регионализацией внутри одной страны.

Каждый из них имеет свою традицию и логику исследования. Так, глобальная этика, несомненно, может считаться детищем XX века. И хотя осознание единства рода человеческого не является откровением нашего времени, а уходит своими корнями в глубокую древность, понимание того, что «Мир замкнулся. Земной шар стал единым... Все существенные проблемы стали мировыми проблемами»¹⁸, выковалось в огне двух мировых войн

¹⁸ Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 141.

и стало достоянием массового сознания в обстановке растерянности перед ужасающей угрозой третьей¹⁹. Как ни печально это признавать, своим возникновением глобальная этика обязана не совместным усилиям народов по борьбе с эпидемиями, голодом, нищетой, а индустриальной экспансии природной среды и индустриально оснащенной взаимной вражде, поставившим человечество на грань уничтожения.

Как будет показано в дальнейшем, неправомерно трактовать проявившиеся на рубеже тысячелетий тенденции общемирового развития (о которых и пишет К. Ясперс) и собственно глобальную этику как результат исключительно западного влияния. Хорошо известно, что отечественная общественная мысль выработала отличные от западных версий принципы общечеловеческого единения. «Философия общего дела» Н. Ф. Федорова, «этика круговой космической поруки» К. Э. Циолковского, «ноосфера» В. И. Вернадского — это не переложения соответствующих западных идей, а их асимметричные аналоги. Но в итоге эта асимметрия способствовала выработке универсалий, преодолевших культурные барьеры, различия в государственном устройстве и формах собственности. В дальнейшем мы остановимся на этих вопросах более подробно, а сейчас лишь подчеркнем созидательное значение идей *русского космизма*, благодаря которым человечество увидело себя целиком из космоса вначале в воззрениях философов, затем через объективы фото- и кинокамер и, наконец, воочию — глазами своих современников. Таким образом, начался новый этап картографирования нашей планеты, где этика в очередной раз шла впереди географии.

Что касается следующего уровня детализации, то он все чаще рассматривается как производный от глобального. То есть с позиций единства человечества отступает на второй план «историческое» измерение народов по степени их прогрессивности и яснее видится ценностное разнообразие планеты, в том числе самобытность нравственной жизни отдельных стран и континентов. Что же в таком случае отражает «этический глобус»? Различие

¹⁹ Манифест Рассела–Эйнштейна // Эйнштейн о мире. М., 1994. С. 576–579.

моральных систем? Специфику их философского осмысления? Разнообразие нравов?

Тем самым вопрос о принципиальной возможности картографирования феноменов нравственной жизни, так и оставшийся без ответа, приобретает в данном случае более общий методологический статус. То есть напрямую восходит к проблеме содержания понятий *этика*, *мораль*, *нравственность*, *нравы*. Этимологическое родство и синонимичность обыденного употребления дополнительно усложняют задачу их различения. В отечественной философской литературе эта тема спорадически вызывала дискуссии, в которых борьба за чистоту дефиниций подчас превосходила по своему накалу борьбу за чистоту нравов.

Впрочем, одним из плодотворных результатов упомянутой полемики стало все более активное употребление понятия *этнос* в случаях, когда требовалось заполнить пустоты между философией морали и способами осмысления ее реального бытия в конкретных условиях места и времени. Именно на путях исследования этноса удается показать, что географический, социологический, этнографический и некоторые другие подходы к описанию эмпирического богатства нравов есть лишь различные способы видения пространственного бытия нравственности. Действительно, аналогия между территорией как единицей географического пространства и структурированной организацией как единицей пространства *внегеографического* — в широком смысле социального — очевидна. Данная аналогия содержит предпосылки исследования локальных феноменов нравственности в качестве элементов организационных (или же коммуникационных) подпространств. Для обоснования подобной оптики в свое время предлагались соответствующие методологические подходы²⁰. Есть и впечатляющие примеры построения такого рода пространственных универсумов. Оригинальную трактовку антропологического пространства, объединяющего (и преодолевающего) различные онтологические уровни, дал Ю. М. Фе-

²⁰ Виноградский В. Г. Социальная организация пространства. М., 1988; Потемкин В. К., Симанов А. Л. Пространство в структуре мира. Новосибирск, 1990 и др.

доров²¹. В семиотическом ключе рассматривал пространство человеческого бытия Ю. М. Лотман. В его обращении к понятию *семиосферы* выражено стремление объединить в одном пространстве дисциплинарно разорванные миры человеческих смыслов²². В дальнейшем эти вопросы будут рассмотрены более подробно при обсуждении региональной проблематики.

Очевидно, что различие упомянутых способов отчетливо проявляется на локальном уровне детализации. В частности, эмпирически очевидное изменение форм нравственности от места к месту составляет основу географического подхода. И все же одним лишь картографированием здесь не обойтись. Северные сибирские регионы демонстрируют ряд проблем сквозного характера, в той или иной мере свойственных регионам любого уровня и масштаба. Их нравственное звучание объединяет в себе и «голос пространства», и организационное отчуждение, и экологическую тревогу, вызванную последствиями интенсивного индустриального вмешательства, т. е., по сути дела, «тянет» на глобальный уровень. В указанном смысле, как уже отмечалось, каждый из данных регионов (а Тюменская область, может, в наибольшей степени) — это не фрагмент на глобусе нравственной жизни, а ее голографическая модель.

Таким образом, экологический императив глобальных проблем современности позволяет увидеть на локальном уровне не только взаимообусловленность географии морали и этики места, но и их общую интегрированность. Для того, чтобы представить эту интегрированность более отчетливо, необходим еще один эскизный набросок.

§7. Этика организаций

Вопросы взаимодействия морали и социальных организаций не были обойдены вниманием в этической литературе последнего советского десятилетия, но почти не рассматривались в качестве

²¹ Федоров Ю. М. Универсум морали. Тюмень, 1992; он же. Сумма антропологии: в 2 ч. Новосибирск, 1996.

²² Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров // Семиосфера. СПб., 2004. С. 150–391.

самостоятельных. И это несмотря на многие болезненные социальные явления того времени, которые трудно было объяснить без учета их организационной подоплеки. Это относится и к бюрократизации органов власти и управления, и к армейской «дедовщине», и к дегуманизации учреждений образования, культуры, здравоохранения... Если же посмотреть на проблему более широко, то нельзя не отметить доминанту ее развития: рост организационного разнообразия общества не является для морали внешним, периферийным процессом, а непосредственно затрагивает ее сущностные характеристики. Может быть, количество работ на эту тему и их общий объем не достигали критических величин, необходимых для становления специального направления. Но, скорее всего, причина не столько в немоги науки, сколько в состоянии социальной практики, не нуждавшейся в осмыслении, не проявлявшей адекватным образом своей организационной сущности. Возможно, этим объясняется та настороженность, с которой были встречены общетеоретические и прикладные исследования по управлению нравственными процессами, активизировавшиеся в этической науке и в смежных областях знания в начале 1980-х годов²³. Как правило, они не посягали на уровень больших социальных групп и общностей. Их объектами были производственный, учебный или воинский коллектив, поселенческая структура, научное сообщество.

При изучении трудового коллектива прикладные исследования столкнулись с необходимостью теоретически разграничить производственно-социальную и нравственно-воспитательную стороны его деятельности. Предполагалось, что это будет способствовать осознанию коллективом самооценки нравственной жизни, послужит гарантией против прямого или косвенного ее подчинения хозяйственной деятельности предприятия. Определенную роль в продвижении и укреплении авторитета

²³ Научное управление нравственными процессами и этико-прикладные исследования. Новосибирск, 1980; Прикладная этика и управление нравственным воспитанием. Томск, 1981; Теория и практика управления нравственным воспитанием в трудовом коллективе. Новосибирск, 1982.

данной позиции сыграли этические деловые игры, выступавшие одновременно и как метод исследования, и как активный метод социально-педагогического воздействия на коллектив.

Не вдаваясь в оценку результатов этой работы и характеристики спорадически возникавших по их поводу дискуссий, отметим лишь, что «запретной зоной» оказались в данном случае болевые точки соприкосновения организационной структуры и соответствующей сферы нравственной регуляции. Впрочем, когда дело касалось локальных организационных структур, то возможность «разоблачения» всей системы (названной впоследствии *административно-командной*) была не столь уж велика, а дальше локальных объектов прикладные исследования организационной направленности реально не продвинулись. Камнем преткновения здесь были не столько ограниченные возможности этической науки, сколько различного рода ограничения в науке организационной. Выход за локальные рамки был осуществлен инициаторами исследования данной проблематики лишь в перестроечные годы. В советской этике определенное внимание уделялось наследованию античной традиции единства и взаимообусловленности логических и нравственных начал. Дань этике в свое время отдали А. А. Ивин, В. Н. Сагатовский, Ф. А. Селиванов, А. И. Уемов, Ю. А. Шрейдер и другие исследователи в области философской и математической логики. В частности, А. А. Ивин, отталкиваясь от античной традиции, предложил логические конструкты, работающие на этическом материале²⁴. Ф. А. Селиванов в цикле этических работ подчиняет логику задаче обоснования этических категорий. В дальнейшем ему удалось соединить логико-гносеологическую и логико-этическую версии, дабы с единых позиций рассмотреть не только процесс познания (в дихотомии истины и заблуждения), но и нравственное поведение²⁵.

²⁴ Ивин А. А. Основания логики оценок. М., 1970; он же. Логика норм. М., 1973.

²⁵ Селиванов Ф. А. Благо. Томск, 1967; он же. Оценка и норма в моральном сознании. М., 1977; он же. Ошибки, заблуждения, поведение. Томск, 1987.

Сближению логико-этических и этико-организационных исследований в рамках этико-прикладного знания способствовал развиваемый В. И. Бакштановским праксиологический подход. С одной стороны, он тяготел к античному фронезису — единству знания и умения, деятельностью зрелости, а с другой, — к его превращенной форме — *ноу-хау* формально организованных технологий индустриального типа.

Особая страница советской этики — задачки, практикумы, другие активные методы этического просвещения и воспитания²⁶. На этой основе и разрабатывались первые этико-деловые игры. Одним из позитивных уроков данного опыта (который по праву считается тюменским) можно считать то, что в определенной степени удалось довести до уровня практического воплощения организационно-управленческий потенциал этики (В. Т. Ганжин, Ю. В. Согомонов) и ряд ее педагогических трактовок: воспитательно-праксиологическую (В. И. Бакштановский), логико-дидактическую (Ф. А. Селиванов), диалогическую (Н. Д. Зотов²⁷). Все это предвосхитило актуализацию *этической* проблематики, в том числе в региональном варианте.

§8. Уроки организации

Как было отмечено выше, определенные препятствия в развитии этико-организационных исследований возникали в связи с различного рода ограничениями в исследовании собственно организационного феномена. Ситуация в данном случае очень напоминает конфликт ожиданий этики и географии, но дополнительно осложняется еще целым рядом обстоятельств.

Действительно, в литературе по теории и социологии организаций до недавнего времени наиболее полно и подробно было представлено течение, условно именуемое *американской школой*. Оно берет свое начало в деятельности рационализаторов промыш-

²⁶ Практикум по этике. Тюмень, 1978; Практикум: профессиональная этика и нравственная культура руководителя. Тюмень, 1981.

²⁷ Зотов Н. Д. Личность как субъект нравственной активности: природа и становление. Томск, 1984.

ленности, среди которых центральное место обычно отводится родоначальнику научной организации труда (научного менеджмента) Ф. У. Тейлору. Последующая эволюция организационных моделей стала основой активно формировавшейся науки управления, нашла свое отражение в социологии и социальной психологии. В дальнейшем авторитет этого течения был подкреплен возникновением теории систем, оформлением кибернетики в самостоятельную науку, результатами математического моделирования организаций. И когда между кибернетикой, системологией, теорией организаций не стало резких границ, указанное направление вплоть до столкновения Запада с так называемым «японским вызовом» воспринималось не только как классика, но и как единственная тенденция.

Теперь, когда взаимообмен теорий привел к сращению и унификации общенаучных, экономических и социологических моделей, достаточно трудно установить не только историческую преемственность, но и приоритет в выдвижении организационных идей. Между тем до недавнего времени именно в контексте установления приоритета рассматривались работы А. К. Гастева и П. М. Керженцева по рационализации трудового процесса в первые годы советской власти. Подобные акценты с необходимой дозой критики сопровождали почти каждое упоминание имени А. А. Богданова и даже присутствовали в изданной наконец-то в 1989 году полным объемом «Тектологии».

Вместе с тем данный опыт теоретизирования и пропаганды организационных идей не был по-настоящему осмыслен и проанализирован. Внутренняя полемика представителей различных школ и направлений затушевывалась. Фактом общественного сознания не стала *драма людей и идей* не только советского, но и более раннего периода. Можно только догадываться, по какой причине оказались невостребованными и не вошли в широкий научный оборот работы А. А. Любищева, К. Э. Циолковского, А. Л. Чижевского, организационное видение которых питалось иными истоками, нежели модели классической теории организаций.

Так было не только с научным наследием. В то время, как в работах, посвященных проблемам организации и управления,

наблюдался очередной виток адаптации зарубежных моделей (с почти неизбежным поклоном в сторону отечественного приоритета в каждой из областей), опыт крупных организаторов промышленности, военачальников, генеральных конструкторов, ученых, возглавлявших масштабные программы исследований и разработок, не был по-настоящему осмыслен, существовал лишь в форме фольклора, особняком, выполняя изредка роль примера, подтверждающего искомый приоритет.

Таким образом, складывалась ситуация, когда теоретико-организационные модели, созданные в рамках американской или же какой-либо из западноевропейских школ, при всех усилиях, затраченных на их адаптацию, не могли сформировать практически значимый опыт управления. А реальный опыт не был адекватным образом выражен в теории. Этот отрыв теории от практики стал привычным. С одной стороны, сохранялась традиция организационного философствования. Появлялись оригинальные теоретические работы²⁸. Не были безуспешными и отдельные попытки навести мосты между теоретиками и командирами производства. Разрастался и обогащался организационный фольклор, культивировавшийся «в кулуарах» различных систем обмена опытом, подготовки и повышения квалификации руководящих работников и т. п. С другой, все это так и не переплавились в объективированные формы знания, характерные для науки.

Такая ситуация порождала у большинства руководителей промышленности устойчивый скепсис по отношению к новомодным течениям, будь то НОТ, АСУ, программно-целевое планирование или же экономико-математические методы. Заодно крепло недоверие к любому теоретизированию и обобщению опыта. На фоне огромного числа «производственных» романов и пьес почти не

²⁸ См., например: Методологические проблемы теории организации. Л., 1976; другие сборники работ участников семинара при Ленинградской кафедре философии АН СССР, ежегодники «Системные исследования», а также отдельные работы по теории и методологии организаций Н. М. Амосова, П. К. Анохина, В. Н. Садовского, В. Н. Сагатовского, М. И. Сергова, А. И. Уемова и др.

было мемуаров производственников. Испытали разочарование и представители науки управления. А вместе с разочарованием росло убеждение, что экономика страны не поддается теоретическому описанию ни в плане общей схемы управления, ни даже на уровне организации локальных процессов производства.

Прозрение пришло неожиданно. Тайна Системы оказалась секретом Полишинеля: Административно-командная система — это и есть унифицированный тип организации не только материального производства, но и всего общества. Соккрытие информации о самой себе — имманентная характеристика пирамидальных, достаточно простых в структурном отношении систем. К сожалению, это прозрение, подобно другим прозрениям эпохи гласности, не имело позитивного выхода. В итоге на книжных полках по-прежнему стоят в основном переводные или адаптированные учебники по менеджменту, а Тайна Бюрократии сменилась тайной коммерческой, а то и криминальной.

Мы, может быть, более подробно, чем следовало, остановились на уроках организационной науки и практики, поскольку, во-первых, именно на такой противоречивой волне, когда увлеченность передовыми производственными и социальными технологиями сочеталась с неотрефлексированным собственным организационным опытом, и осуществлялся в те годы массивный бросок на нефтяной Север. Во-вторых, попытка описать организационное пространство, взаимодействующее с пространством географическим, будет предпринята нами в контексте освоения этоса, перевода его на язык отечественной культуры. Но и эволюция этоса, как мы постараемся показать, происходила под воздействием организационного фактора. И все-таки, прежде чем приступить к этим центральным вопросам работы, необходимо остановиться еще на одном — на этот раз заключительном — фрагменте подготовительного плана.

§9. Уроки проектирования

Рассматривая в самом начале вопрос об индустриальном стандарте освоения, мы в качестве одного из признаков индустриальности отметили, что освоение было спроектировано.

Действительно, проектирование давно рассматривается как опознавательный знак крупного промышленного производства. Но если на заре индустрии проект означал предварительный документальный или материальный прототип промышленного изделия или объекта строительства, то постепенно проектирование охватило и деятельность по изготовлению или сооружению данных объектов.

В итоге общество пришло к необходимости сознательного и целенаправленного проектирования большинства существенных для него систем: производственных, социальных, гуманитарных. Может быть, несколько преждевременно, но достаточно уверенно заявили о себе соответствующие виды проектирования: социальное, гуманитарное, социокультурное. К тому же любой крупный проект, к какой бы сфере действительности он не относился, всегда втягивает в свою орбиту огромное число человеческих связей, превращаясь тем самым в проект социальный.

Повышение авторитета проектирования проявляется и в том, что проектный способ мышления проник и в фундаментальные («чистые») науки. Появились исследовательские проекты, никак не связанные с непосредственным практическим выходом. С другой стороны, проектом стали называть собственно практическую деятельность (например, сооружение уникального объекта), а не только ее интеллектуальный план. Отчасти это объясняется тем, что проектирование вышло за некогда отведенные ему рамки связующего звена между исследованием и материальным производством. Постепенно оно превратилось в самостоятельную интеллектуальную деятельность по овеществлению знания, а затем и в самостоятельную отрасль общественного производства. Возникли крупные проектные коллективы, оформившиеся в организации индустриального образца.

В эти же годы проектирование, наряду с наукой, стало объектом общенаучной и философской рефлексии. Одним из первоначальных импульсов стала концепция «общего знаменателя проектирования» В. Гропиуса. Она была творчески воспринята целой плеядой отечественных культурологов (О. И. Генисаретский, К. М. Кантор, В. Ф. Сидоренко, Г. П. Щедровицкий

и др.). Популярной в те годы была методология системного проектирования и концепции праксиологической и квалиметрической оценки проектов. В какой-то момент подобные идеи стали осознаваться как признаки серьезного культурного сдвига, формирования особого проектного способа общественного воспроизводства — явного программирования культурой собственного будущего. Более того, ретроспективный взгляд на истоки проектирования и его роль в культуре позволил некоторым исследователям выделить особый тип культуры — проектный, в отличие от культур канонических, где освященная веками традиция практически в неизменном виде воспроизводит образ жизни последующих поколений²⁹.

Предваряя исследование проблематики регионального этоса, мы хотели бы дополнить сказанное по поводу проектирования некоторыми аспектами, не получившими пока должного освещения, поскольку в дальнейшем они понадобятся уже в развернутом виде.

Прежде всего это относится к познавательному статусу проектирования. Помимо того, что продолжает существовать типовое проектирование, а также коллажное проектирование «с помощью ножниц и клея», растет удельный вес уникальных проектов. Продолжая оставаться, по словам Т. Котарбиньского, «начальной работой прикладной науки», проектирование задает приоритет в исследовании, делая уникальным характер знания и преодолевая его дисциплинарную разобщенность.

Показателен в данном случае опыт работы конструкторских бюро в области авиационно-космической техники, в других наукоемких производствах, где создаются сложные единичные образцы объектов искусственного происхождения. И все же в со-

²⁹ См.: Кантор К. М. Опыт социально-философского объяснения проектных возможностей дизайна // Вопросы философии. 1981. № 11. В дальнейшем элементом научной полемики стал вопрос о перерождении канонической культуры в проектную: Сидоренко В. Ф. Генезис проектной культуры // Вопросы философии. 1984. № 10. См. также: Кантор К. М. Правда о дизайне. М., 1996; Сидоренко В. Ф. Идея проектной культуры. М., 1995.

ответствии с задачами работы хотелось бы обратить внимание на проекты иного рода, которые определяют исключительность и неповторимость непосредственного взаимодействия индустрии и природной среды. Так, в добывающих отраслях будущей облик всего многослойного пространства индустриальной деятельности, надстраивающегося над территорией, во многом задается проектом разработки месторождения. Однако, как отмечает Н. Л. Шешуков, «подобный проект — всегда результат решения научной проблемы. Если проект промышленного объекта основан, как правило, на подборе существующего оборудования, известных технологий и заканчивается заявочными спецификациями, то месторождения уникальны, в них нет шаблона. Каждое из них необходимо исследовать как единичный объект. Таким образом, проект разработки — это часть научно-исследовательской работы, над которой работает большой коллектив. При этом часто возникают нестандартные задачи, а в их решении большая роль принадлежит уже не коллективам, а отдельным людям. Они могут не быть облаченными степенями и званиями, но именно они в состоянии решить конкретную задачу и тем самым на долгие годы сделать прорыв в этой области знания»³⁰.

Есть еще один момент, характерный для современного проектирования. Это его существование в конкретном культурном контексте, что подчас трактуется как приземленность. На самом деле в данном случае подключается особый социокультурный механизм фильтрации идей, изобретений и культурных схем. Конечно, он может отфильтровать очень ценные и оригинальные идеи, но одновременно является заслоном от некритичного заимствования культурных идиом, вызванных несовпадением контекста деятельности. На этом уровне особенно проявляется тяготение проекта к исследованию, причем, к исследованию явно постнеклассического образца. Такого рода исследовательский поиск (его иногда называют предпроектным) могут выполнять сами проектанты. На данном уровне может подключаться гуманитарная экспертиза, но не как внешняя надзорная инстанция,

³⁰ Ведомости НИИ ПЭ. Вып. 9. Тюмень, 1997. С. 25–26.

а как своего рода внутренняя техника безопасности, проектная деонтология. Подобная практика расширяет горизонты проектного мышления, проектные модели приобретают единичный, «штучный» характер, а проектирование начинает выполнять особые герменевтические функции.

Обычно проектирование связывают с предвосхищением результата, с подготовительной работой, т. е. так или иначе — с последовательностью действий во времени. Об этом говорит и этимология слова *проект*. Но проектирование связано и с изменением предметной среды, особенно в случаях градостроительного проектирования, архитектурно-планировочных решений или художественного конструирования. В последнем случае обычно употребляется слово *дизайн*, которое целесообразно распространить на весь пространственный аспект проектирования. Так или иначе, проект (так же, как и план) существует в пространственно-временных координатах, и, пожалуй, именно *топика* проекта определяет его уникальность и неповторимость.

Все эти моменты в той или иной степени (в тех или иных сочетаниях) воплотились в интенсивном индустриальном освоении Тюменского Севера. В разработке и эксплуатации расположенных на огромной территории исключительных по своим запасам месторождений нефти и газа, в возведении за короткий срок современных городов, в прокладке линий электропередачи и транспортных коммуникаций. По сути дела, о динамике развития региона можно говорить как об осуществлении огромного уникального Проекта.

Глава 2

| ЭТОС |

§1. Индустриальная прелюдия

Вопрос о губительных последствиях индустриальной экспансии для регионов, о которых идет речь в нашей работе, имеет по крайней мере два взаимодополняющих аспекта. Во-первых, это изначальность экспансионистских тенденций, присущих индустриализму в лоне его зарождения и развития. «Европеец XIX в., — писал К. Леви-Строс, — провозгласил свое превосходство над остальным миром, похваляясь паровой машиной и другими техническими достижениями»³¹. Под знаком этой уверенности и была осуществлена колонизаторская политика. «Технически грамотному и рационально мыслящему европейцу, воплощавшему прогресс перед лицом других человеческих сообществ, завоевание представлялось наиболее быстрым и благородным способом, позволяющим приобщить отсталые народы к цивилизации»³².

Вместе с тем было бы ошибочным связывать тенденции индустриального развития исключительно с исторической миссией Запада, последовательно реализовавшей себя в попытках эллинизации, романизации, христианизации; в навязывании «отсталым народам» универсалий свободы и стандартов индустриальности. Осознание того, что цивилизация, противопоставлявшая себя

³¹ Леви-Строс К. Печальные тропики. М., 1984. С. 12.

³² Финкелькраут А. Идентичность, культурное самосознание // 50/50: Опыт словаря нового мышления. М., 1989. С. 35.

варварству, оказалась способна на методы, превосходившие нашествия варваров по масштабам и жестокости, не прошло бесследно. И хотя в самосознании западноевропейской культуры *разум Запада* подчас отождествлялся с разумом самой Истории, в настоящее время завышенность подобных притязаний очевидна. Правда, в своем отраженном и искаженном виде эти бывшие притязания приводятся в качестве решающего аргумента, когда в угоду изоляционистским тенденциям под сомнение ставятся усилия по сближению народов и культур. Надо признать, что в отечественном индустриальном опыте почва для культивирования такого рода подозрений имеется. Она обусловлена специфическими социальными и культурными параметрами целого ряда индустриализаций. В этом заключается второй аспект упомянутого вопроса.

В последнее время оба аспекта соседствуют в развернувшейся полемике по поводу ориентиров социального развития и модернизации обществ различного типа без потери ими своей идентичности³³. Трудно не упомянуть данные аспекты и в нашей работе. Поэтому каждый из них будет или намечен конспективно, или же развернут с той степенью подробности, которая диктуется логикой рассмотрения эволюции регионального этоса. Но и то и другое невозможно без обращения к истокам проблемы становления индустриального видения мира.

Приоритет в теоретической постановке данной проблемы принадлежит А. Сен-Симону, который, по словам Д. Белла, «популяризировал термин *индустриализм*, означавший появление общества, в котором богатство создается с помощью производства и машин, но не путем захвата и войн»³⁴. Индустриализм Сен-Симона был направлен своим критическим острием на преодоление отживших феодально-теологических предрассудков, а в позитивном смысле «способствовал утверждению ново-

³³ См., например: Наумова Н. Ф. Рецидивирующая модернизация в России // Социологический журнал. 1996. № 3/4. С. 5–28; Панарин А. С. «Вторая Европа» или «третий Рим»? М., 1996; Федотова В. Г. Модернизация «другой» Европы. М., 1997.

³⁴ Bell D. The Post Industrial Society // Scientific Progress and Human Values. N. Y., 1967. P. 155.

го прогрессивного социального этоса»³⁵. Пафос общественного переустройства, смена ценностных акцентов удачно передается знаменитым восклицанием А. Сен-Симона: «Довольно почестей Александрам! Да здравствуют Архимеды!»³⁶.

Более четкие контуры индустриального видения прорисовывались в атмосфере бурных дискуссий по поводу кардинальных общественных сдвигов, вызванных небывалым развитием науки и промышленности. Но еще до того, как стать предметом философской рефлексии, «подземные толчки» надвигающейся индустриальной эры, благодаря чуткому восприятию людей искусства, находили свое выражение в художественных образах. Тема индустриализма отражена в романах Ч. Диккенса и Э. Гаскелл, в «Человеческой комедии» О. Бальзака, ею проникнуты художественно-публицистические произведения Т. Карлейла. Восторженно откликнулся на развитие в Европе сети железных дорог Г. Гейне: «...То же должны были переживать наши предки, когда была открыта Америка, когда изобретение пороха возвестило о себе первыми выстрелами, когда книгопечатание пустило в мир первые заглавные листы божественного слова. Железная дорога также является таким решающим событием, которое изменяет цвет и внешний вид жизни; начинается первая глава всемирной истории, и наше поколение должно гордиться тем, что оно живет в такое время»³⁷. Не остались в стороне и другие жанры искусства. Достаточно вспомнить исполнявшуюся сен-симонистами «Песню промышленности» знаменитого автора «Марсельезы» Р. де Лиля³⁸, полотно Дж. Райта и Ф. Лаутерберга.

³⁵ Полицук М. Л. В преддверии натиска «третьей волны»: контуры планетарной цивилизации в общественно-политической мысли Запада. М., 1989. С. 26.

³⁶ Сен-Симон А. Письма женева обитателя современникам. Избр. соч. М., 1948. С. 115.

³⁷ Гейне Г. Собр. соч.: в 6 т. М., 1980. Т. 6. С. 217–218.

³⁸ Индустриальный пафос еще долгое время был присущ европейскому музыкальному искусству. Характерный пример — «Болеро» М. Равеля, написанное под впечатлением посещения композитором металлургического завода.

Как известно, характер нарождавшегося общества по-разному был осмыслен его выдающимися современниками. К. Маркс называл его *капиталистическим*, и эта характеристика на долгие годы стала преобладающей. Но со временем были востребованы и другие: так, для А. де Токвиля оно было демократическим, а О. Конт вслед за своим учителем и патроном квалифицировал это общество как индустриальное. Как отмечает в связи с этим Р. Арон, «Выбор прилагательного зависел от угла зрения, под которым рассматривалась действительность»³⁹.

М. Вебер, будучи представителем следующего поколения социальных мыслителей, на основе очерченных таким образом (под тремя различными углами зрения) проекций создает объемную модель данного общества. Он называет его «индустриальным капитализмом», причем слово *industria* в его текстах часто означает *трудолюбие* и несет вполне определенную этическую нагрузку⁴⁰.

В отличие от своих предшественников, все еще видевших в исторической судьбе западного мира некий универсальный общечеловеческий стандарт, М. Вебер задается вопросом: «какое сцепление обстоятельств привело к тому, что именно на Западе, и только здесь, возникли такие явления культуры, которые развивались... в направлении, получившем универсальное значение»⁴¹. Действуя методом *каузального сведения*⁴², Вебер находит ответ в уникальном совпадении целого ряда моментов, каждый из которых нес в себе рациональное начало. Это рациональная античная наука, сформировавшаяся на основе *доказательной* математики, рациональная теория права, рационально «исчисленное» искусство (прежде всего, музыкальное и монументальное), рациональная экспериментальная наука Нового времени, основанная на машинной технике рациональная технология, рациональный способ ведения хозяйства. Венцом этого объединения выступает у М. Вебера протестантизм

³⁹ Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. С. 305.

⁴⁰ Вебер М. Избр. произведения. М., 1990. С. 92.

⁴¹ Там же. С. 44.

⁴² Там же. С. 56.

с его рациональной трудовой этикой, возведшей успех в ранг религиозного призвания. Все это обусловило возникновение специфического общества-производства, существенной чертой которого становится *формальная рациональная организация формально свободного труда*⁴³. «В результате в Европе впервые возник новый, прежде никогда не существовавший и потому не имеющий аналогов в истории тип общества, который современные социологи называют индустриальным»⁴⁴.

Вместе с тем современный взгляд на факторы, которые Вебер и его последователи считали необходимыми и достаточными для индустриального варианта развития, позволяет заметить нечто общее в их структуре и способах функционирования:

— прежде всего процедурность, регламентированную последовательность действий или же логическую цепочку аргументов, т. е. все то, что в наши дни обычно связывается со словами *методика, технология, алгоритм*;

— эволюционное видение тех трансформаций, которые претерпел Запад на пути в «царство индустрии»;

— структурно-организационный анализ данной эволюции;

— наконец, взаимообусловленность этической и организационной сторон становления индустриального общества, выразившуюся в субъективно-объективной диалектике изменения социального порядка.

Можно предположить, что у этих факторов есть общая порождающая основа. Подтверждением данного тезиса способен стать ретроспективный анализ индустриальной (и в этом смысле, организационно-алгоритмической) истории этоса.

Следует сразу оговориться, что рассмотрение парадигмы индустриального общества предпринято, разумеется, не с тем, чтобы анализировать новое индустриальное освоение северных сибирских регионов «с томиком Вебера в руках». Скорее, наоборот — чтобы в дальнейшем показать, что *этос* Вебера представляет

⁴³ Вебер М. Избр. произведения. М., 1990. С. 44–57.

⁴⁴ Гайденко П. П., Давыдов Ю. Н. История и рациональность. М., 1991. С. 76.

собой зрелую, индустриальную форму этоса, столь же уникальную, как и тот тип общества, который был предметом анализа в его социологии. Соединение же необходимых и достаточных факторов индустриализации в северном сибирском исполнении произошло, как известно, не по Марксу, не по Веберу и даже не по североамериканскому или канадскому сценариям. Тем не менее большинство моментов, которые отразил М. Вебер в своей каузальной модели, стали достоянием отечественной культуры, в той или иной степени определяли и определяют ее индустриальный облик. Следовательно, освоение индустриального опыта потребовало соответствующего «перевода» каждой из его составляющих. Каким же образом тогда осваивался индустриальный этос? Возможен ли его адекватный перевод на язык другой культуры в принципе? Ответы на эти вопросы, как уже отмечалось, видятся в ретроспективном анализе эволюции этоса.

§2. Реабилитация

Как уже отмечалось в предисловии, слово *этос* становится достаточно популярным в современном этическом и социологическом лексиконе, сохраняя при этом известную нечеткость, многозначность. Считается, что пример такого отношения к термину подал М. Вебер, оперировавший выражениями *профессиональный этос*, *хозяйственный этос* и т. п., не особенно заботясь о дефинициях и прояснении содержания.

Действительно, современное понимание этоса чаще всего связывается с именем Вебера, который ввел его в социологию и тем самым реабилитировал термин и стоящее за ним понятие. В западноевропейской и в американской социологии термин был взят на вооружение многими видными исследователями (Т. Парсонсом, Р. Мертоном, Н. Сторером и др.). Им стали широко пользоваться в социологии науки, образования, культуры. Закономерно повышение интереса к этосу в период *веберовского ренессанса*⁴⁵. В советской социологии термин не получил широко-

⁴⁵ См.: Гайденко П. П., Давыдов Ю. Н. История и рациональность. С. 62–107.

го распространения, а упоминался лишь в плане критического рассмотрения работ западных социологов. Зато в этической литературе конца 1970-х годов он был легализован в позитивном смысле, главным образом усилиями В. Т. Ганжина и Ю. В. Согомонова, которые исследовали возможности управления нравственными процессами и организационную оболочку локальных феноменов нравственности⁴⁶.

Может быть, из-за множественности значений этоса почти каждое его введение в научный оборот не обходится без соответствующей интерпретации⁴⁷. Истолкование этоса в качестве совокупности обычаев, стихийно складывающихся образцов поведения, по сути дела, отождествляет его с нравами. Но если этос — всего лишь нравы, то, как правило, в ценностном измерении. Так, по мнению М. Оссовской, «этос — это стиль жизни какой-то общественной группы, общая ... ориентация какой-то культуры, принятая в ней иерархия ценностей... Термин *этос* применяется к группам, а не к индивидам. Его объем выходит за рамки ценностей, которыми занимается этика. Это один из основных терминов социологии культуры»⁴⁸.

Но существует и другое понимание этоса, приближающее его к этическому кодексу, т. е. добровольно принятым на себя обязательствам или согласованным правилам поведения. В этом смысле можно говорить об этосе средневековых рыцарских орденов или же о монашеском этосе, об этосе профессий и т. д. В указанных рамках (иногда почти неразличимых) заключено большинство современных трактовок этоса, прямых или косвенных попыток понятийного анализа. В этом ключе развивают понятийную структуру этоса В. И. Бакштановский и Ю. В. Со-

⁴⁶ См.: Ганжин В. Т. Управленческий этос и проблемы этоники // Роль профессиональной этики в управлении нравственным воспитанием. Владимир, 1980. С. 115–123; Согомонов Ю. В. и др. Регуляция этоса субъекта управления воспитанием // Управление нравственным воспитанием в трудовом коллективе: союз теории и практики. Тюмень, 1982. С. 157–160.

⁴⁷ См.: Бакштановский В. И., Потапова Е. П., Согомонов Ю. В. Выбор будущего: к новой воспитательной деонтологии. Томск, 1991. С. 17–22.

⁴⁸ Оссовская М. Рыцарь и буржуа. М., 1987. С. 26.

гомонов. Их категориальный анализ исходит из такого представления о триаде *нравы—этнос—мораль*, согласно которому «этносные нормы выражают конвенциональный компромисс между реально возможным и идеально желаемым уровнем нравственной жизни “продвинутых” групп и сословий (не всего социума в целом)»⁴⁹.

Характерно, что исследователи, оперируя термином *этнос* в его современном звучании (и, очевидно, чувствуя упомянутую неразличимость), стремятся не столько определить содержание понятия, сколько ограничить сферу его применения. (Иногда для такой цели используется производное понятие — *субэтнос*.) Причем в одних случаях принимается внешний способ ограничения данной сферы, в других — ее возвышение над уровнем повседневности достигается за счет предъявления сверхнормативных требований к соответствующей социокультурной практике. Первый способ тяготеет к социологии, второй — является по преимуществу этическим. Подобная исследовательская практика отчасти объясняет причину популярности этноса, поскольку указывает на пограничный этико-социологический статус термина, раскрывает его дополнительные конструктивные возможности в теоретическом воссоздании локальных феноменов нравственности.

Еще одна линия в трактовке этноса привлекает внимание исследователей, свидетельствуя о неудовлетворенности чисто рациональным обоснованием морали. Особенно это заметно при взгляде на этнос как на *протомораль* — внерациональный способ укоренения нравственности. Показательна в данном отношении позиция, отстаиваемая Е. Анчел. Для нее нравственный порядок, который привносится человеком в мир, рационалистичен, как и большинство человеческих изобретений. «Человек, — пишет она, — не располагает опытом, свидетельствующим о неких нравственных устоях мира, о таком мире, в котором существовал бы нравственный *порядок*. Между тем нравственные понятия,

⁴⁹ Бакштановский В. И., Согомонов Ю. В., Чурилов В. А. Этика политического успеха. М., 1997. С. 23.

критерии, побуждения, которые им созданы и которых он придерживается, оказываются возможными и приобретают смысл лишь в этом мире»⁵⁰. Е. Анчел видит в этосе первопонятие, в коем черпает свою силу практическая нравственность, инвариант относительно многообразия ее проявлений. «Этос коренится в истории глубже, чем мораль, хотя бы потому, что он не привязан к настоящему»⁵¹, — отмечает она в другой своей работе, подчеркивая при этом не только глубинный характер этоса, но и то, что проявляется он в критические, переломные моменты бытия человека и человечества.

По-иному предстает эта грань этоса при попытке анализа нравственного смысла конфигурации власти. Речь не обязательно идет о политической этике, где этос выступает гарантом справедливого распределения властных полномочий и разрешения конфликтов. Имеется в виду интерпретация этоса как «пространства взаимопорождения морали и власти»⁵². Его структуризация способствует проявленности границ власти, возникающей в процессе деятельности. Тем самым этос уравнивает «классические» модели бинарного взаимодействия (учитель—ученик, врач—пациент, руководитель—подчиненный, хозяин—наемный работник и т. п.) и распространяется на большинство других, где налицо признаки патернализма или явного доминирования.

Если же от современных трактовок этоса вернуться к тому пониманию, которое характерно для работ М. Вебера, то отсутствие строгих дефиниций вряд ли можно объяснить только неким интуитивным общим смыслом или желанием воспользоваться «ненагруженным» термином. Содержание понятия проясняется в контексте методологии Вебера и его исследовательской программы по изучению рациональности западного образца. Процесс *расколдовывания культуры*, интересовавший мысли-

⁵⁰ Анчел Е. Этос и история. М., 1988. С. 10.

⁵¹ Ansel E. Gráz az éthoszról. Вр., 1981. 37. old.

⁵² Подробнее см.: Франц А. Б. Политическая анатомия морали. Екатеринбург, 1993.

теля, привел его к необходимости через сто лет после Канта проследить «странную судьбу разума» на этапе его самораскрытия в зрелых формах индустриальности⁵³. Для этого и пришлось Веберу подвергнуть анализу систему базовых понятий античной философии, к числу которых относится этос. Обращение к этосу происходит в тех случаях, когда приходится соотносить житейскую мудрость, практическую нравственность с рационально организованными формами деятельности. Этос у М. Вебера — это и нравственный ореол действия, и его импульс, и посредник между рациональной моралью и ее внерациональными основаниями. Вполне возможно, что Вебер не считал нужным специально оговаривать не только дефиниции, но и право на реабилитацию этоса, поскольку в то время античная культура в очередной раз стала предметом пристального внимания целой плеяды выдающихся мыслителей. В философских концепциях В. Виндельбанда и Ф. Ницше, Л. Витгенштейна и О. Шпенглера этос предстает прежде всего как инструмент ревизии культуры, но только у М. Вебера и, может быть, еще у М. Шелера⁵⁴ (его социологическую программу иногда рассматривают как альтернативу веберовской социологии) он эволюционирует, наполняясь конструктивным и позитивным смыслом.

Духовная ситуация второй половины XIX века, когда рождались и утверждались указанные концепции, настолько значима для последующего развития философской и социологической мысли, что вряд ли может быть рассмотрена в какой-то одной

⁵³ Чтобы убедиться в обоснованности данного тезиса, достаточно сравнить предисловие Канта ко второму изданию «Критики чистого разума» и «Предварительные замечания» Вебера к первому тому «Собрания сочинений по социологии религии» (См.: Вебер М. Избр. произведения. М., 1990. С. 44–60).

⁵⁴ Этос Шелера — полномочный представитель в сфере духа так называемой сферы реальности, т. е. витальных инстинктов, потребностей, влечений. С некоторыми оговорками можно сказать, что порождающей основой этоса является в таком случае не социальная организация (как у Вебера), а телесная организация индивида — организм (см., например: Шелер М. Формы знания и общество: сущность и понятие социологии культуры // Социологический журнал. 1996. № 1/2. С. 122–158).

проекции. Тем не менее цели данной работы уже выделили в ней вполне определенный круг идей, связанных с индустриальным видением мира, индустриальной организацией, индустриальной стадией эволюции этоса. Напрашивается вывод, что социология как самостоятельная отрасль знания не только сформировалась благодаря индустриальной революции, но и предмет свой обрела в обществе периода его индустриальной зрелости. В той же степени этика связана с возникновением и конституированием праиндустриальных форм социальной жизни. Поэтому и необходимо обращение к родословной этоса, к его античным истокам, к тому поистине историческому моменту, который развел, а затем причудливо соединил Разум и Этос в их дальнейшей судьбе.

§3. Родословная

В классическом своем значении античный этос (ἦθος) охватывал целую гамму нравственно-эстетических и нравственно-психологических проявлений. Однако задолго до того, как обрести классический смысл, слово *этос* означало местопребывание, совместное жилище, а затем — обычай, темперамент, характер, нрав⁵⁵. Иногда такой вариант этимологии оспаривается, но несомненно другое: в формировании духовно-практического комплекса античной культуры доминирующую роль сыграло общностное, поселенческое начало. Иными словами, созидался этот комплекс преимущественно «по месту жительства».

Согласно античным представлениям, жизнь людей определялась неизменным физисом (природой) и складывающимся, формирующимся этосом (нравом, характером). В каком-то смысле *физис* и *этос* можно рассматривать в качестве прообразов современной категориальной пары — *природа* и *культура*. Подтверждением такого предположения может служить и то, что категориальный статус придавался этосу чаще всего в связи с педагогическими и психологическими воззрениями на сущность воспитания. Отсюда и то особое место, которое в античной

⁵⁵ Гусейнов А. А., Иррилиц Г. Краткая история этики. М., 1987. С. 113.

педагогике и эстетике принадлежит учению о музыкальном этосе как важном средстве нравственно-воспитательного воздействия на человека⁵⁶. Традиция такого понимания этоса коренится в древнегреческой мифологии, в сказаниях о полубогатворном кифарде Орфее, способном своей игрой околдовывать диких животных, двигать деревья и размягчать скалы. Впрочем, не стоит забывать, что само понятие «музыка» (μουσική) древние греки трактовали как некий целостный культурно-воспитательный комплекс — квинтэссенцию системы образования. Особое место отводилось ей и в философских воззрениях. Так, пифагорейцы видели в музыке гармонию противоположностей и считали, что эта гармония скрыта в природе числа⁵⁷. Согласно Платону, философия — самая величественная музыка («Федон»), а музыка — это философия в миниатюре. Да и идеал античности — это мусический человек, служитель муз, находящийся под их покровительством⁵⁸.

В сложном комплексе проявлений, которыми богат этос в эпоху античной классики, обращает на себя внимание «своеобразное переплетение этики и логики, где логика служит организующим началом»⁵⁹. Для предпринятого экскурса в родословную этоса подобный вывод очень важен. Он позволяет обосновать последующую трансформацию этоса как результат усиления логического начала.

Конечно, сама по себе смена акцентов в содержании этоса не дает представления о причине этой трансформации. Причина состоит в «расщеплении ядра» античного этоса и высвобождении мощной энергии рационального знания. Это произошло благодаря

⁵⁶ См.: Золтаи Д. Этос и аффект. М., 1977; Шестаков В. П. От этоса к аффекту. М., 1975.

⁵⁷ Прекрасным напоминанием о гармоничном родстве музыки, поэзии и математики являются слова античного происхождения: *ритм*, *рифма*, *арифметика* (наука о числе). В дальнейшем в этом же русле произошла псевдогреческая стилизация термина *алгоритм*.

⁵⁸ Подробнее об этом см.: Герцман Е. В. Музыка Древней Греции и Рима. СПб., 1995.

⁵⁹ Вальченко В. В. Этос в «Риторике» Аристотеля // Вестник древней истории. М.: Наука, 1984. № 2. С. 59.

соединению логики с математикой, т. е. благодаря появлению особой доказательной математики и ее дальнейшему развитию. Одним из тех, кто подготовил такое расщепление, был Фалес (или же кто-то из его современников), впервые доказавший теорему о равнобедренном треугольнике. К этому моменту и обращается И. Кант в своих размышлениях о «странной судьбе разума» на пути его самопознания. Именно о нем говорит как о «революции в способе мышления», как о «научной революции» (кстати, за двести лет до того, как это выражение стало популярным благодаря известной книге Т. Куна). Подчеркивая неоднократно, что логика сравнительно рано пошла «верным путем науки», поскольку в ней «разум имеет дело с самим собой», Кант указывает на перемену в способе математического мышления, благодаря которой математика вслед за логикой ступила на верный путь науки, вернее создала себе этот царский путь, проложив необходимое направление «на все времена и в бесконечную даль»⁶⁰.

Поворотное значение для математики и всей античной культуры теоремы о равнобедренном треугольнике состояло вовсе не в обнаружении факта равенства углов при его основании, поскольку этот факт был известен в Древнем Египте задолго до Фалеса. Фалес (или кто-то из его современников) впервые *доказал* это свойство. Поворотной стала именно процедура *доказательства*, известная теперь каждому школьнику, но поразившая воображение греческих мудрецов. Соединение математики с логикой привело к тому, что логическое начало этоса, присвоив искусственно сконструированные идеальные объекты (числа, фигуры, тела), обрело область самостоятельного внеэтосного развертывания. Возникшая *культура доказательства* бросила вызов незыблемости традиции и ее безраздельному господству в сфере нравственности. Нравственная составляющая этоса стала нуждаться и в рациональном обосновании. Тем самым было предопределено создание научной этики, ее отделение от нравственности, проложено направление их последующей рационализации.

⁶⁰ Кант И. Сочинения: в 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 84.

В данной «революционной ситуации» нам бы хотелось обратить внимание на следующие обстоятельства.

Во-первых, как ни велика заслуга Фалеса, задавшего мощный импульс развитию античной рациональности, почва для такого рода революции была уже подготовлена.

Во-вторых, характерные для культуры доказательства процедурность и строгая последовательность логических выводов выразились в его «протяженности».

В-третьих, зарождавшаяся этика в силу целого ряда уникальных совпадений стала не теорией этоса, а теорией нравственно совершенной личности.

Указанные обстоятельства не рядоположены — первое генетически обусловило два последующих, что не только свидетельствует о многообразии первоначальных форм античного этоса, но и сказывается на особенностях его дальнейшей эволюции. По меткому замечанию В. Ф. Турчина, при общественном строе Древнего Египта *доказательство* и не могло возникнуть: старшие не считали нужным доказывать что-то младшим, а младшие не смели требовать от старших доказательств⁶¹. Это дополнительный штрих к тому, что зачатки будущей рациональности достаточно глубоко укоренены в образе жизни свободнорожденных жителей античного полиса, в специфике античной культуры, в особенностях мифологии, откуда, постепенно освобождаясь от магии, они пришли в научное и философское сознание⁶². Давно замечено, что древнегреческая цивилизация изначально технична, проектна и одновременно политична⁶³. «Рациональная революция» дополнительно вооружила ее силой научного знания. Может быть, поэтому *проект и утопия, техника и органи-*

⁶¹ Турчин В. Ф. Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции. 2-е изд. М.: Словарное изд-во ЭТС, 2000. С. 49.

⁶² Подробнее об этом см.: Даан-Дальмедико А., Пейффер Ж. Пути и лабиринты. Очерки по истории математики. М., 1986. С. 57–96, где отражены недавние результаты исследований истоков рационального мышления; Надточаев А. С. Философия и наука в эпоху античности. М., 1990.

⁶³ Рожанский И. Д. Эволюция образа ученого Древней Греции // Вопросы истории естествознания и техники. 1980. № 1.

зация, игра и политика, будучи исконными гранями античной культуры, при ретроспективном взгляде стали восприниматься как атрибуты эволюционирующего этоса⁶⁴.

Безусловно, для того чтобы сделать картину эволюции этоса более объемной, следовало бы представить его не только как коррелят организации, но и соотносить со всеми указанными ипостасями. Однако подобное рассмотрение в большей степени имело бы самостоятельное значение, чем служило заявленным целям работы. Поэтому в дальнейшем избран компромиссный путь: проследить эволюцию этоса под воздействием интегрированного фактора. Имеется в виду, что развертывание доказательного способа мысли и действия — это путь рационализации морали за счет ее «извлечения» из этоса. «Инструментами» такого извлечения являются рациональные организации.

Данный подход позволяет глубже осознать значение второго из отмеченных выше обстоятельств. Действительно, становление европейской рациональности обнаруживает повсеместное проявление процедурности (процессуальности). Она легко прочитывается в христианской трактовке акта божественного творения. Ею пронизана нравственная атрибутика личного спасения. Давно замечено, что на данном этапе человек обретает биографию (в виде игры по правилам христианской морали), а человечество — историю. Но история не является для этоса внешним процессом, а в какой-то степени подготовлена его собственной трансформацией. В этот период, может быть, еще не совсем явно, понятие этоса получает дополнительную смысловую нагрузку (инварианта, а в каком-то смысле — культурного кода).

Обратимся теперь к третьему из отмеченных выше обстоятельств. Казалось бы, по сравнению с первыми двумя, оно имеет достаточно узкое, внутринаучное значение. Действительно, по причине того, что научная этика стала персоноцентричной,

⁶⁴ Как уже отмечалось, для такого взгляда есть определенные основания. О развитии античной мысли от этических синтагм к системности теоретического знания см.: Огурцов А. П. Дисциплинарная структура науки. М., 1988. С. 123–130.

сосредоточенной на нравственных исканиях и моральном самоопределении индивида, поселенческий (общностный) фактор, не воспроизводился теоретически во всей необходимой полноте и долгое время оставался на периферии этического знания⁶⁵. Но есть у данного обстоятельства и второй план.

Это истоки будущей корпоративности — отличительной черты нравственной жизни индустриальных обществ. Понимаемая таким расширительным образом корпоративность есть не столько результат воздействия на нравственность производственных и профессиональных корпораций Новейшего времени, сколько предпосылка их появления и устойчивого существования. Но, в свою очередь, корпоративность порождена дискретностью общества, т. е. появлением дискретного индивида — *хозяина своего тела и своего дела* (в более поздних моделях социума он представлен как *тело*, которому присущ «вектор дела» — *интерес*). Отсюда и возникновение особого типа социальности, вытесняющей и замещающей вековые традиции кровнородственных связей и отношений личной зависимости. Основой социальности становятся не органические связи традиционного общества, а формальные (техничные) способы организационного сцепления. На этом и вырастают корпорации. В сфере общественной нравственности они доделывают работу, изначально санкционированную нравственным обособлением индивида. Понятно, что индустриальная корпорация и индустриальный этос не только взаимно репрезентируют друг друга, но являются динамическими составляющими единого процесса, начало которому положено в античности.

§4. Алгоритм эволюции

В предыдущем параграфе были не только упомянуты предпосылки эволюции этоса, но и намечены направления его развертывания от *первой теоремы* до *индустриальной организации*.

⁶⁵ Ганжин В. Т., Алексеева Т. А., Петякшева Н. И. Глобальная (страноведческая) этика // Вестник МГУ. Сер. 7: Философия. 1989. № 4. С. 19–21.

Нелишнее специально подчеркнуть родство этих феноменов. Действительно, если сравнить структуру теоремы (от *Дано* до *Требуется доказать*) со структурой индустриального производства (от сырья, материалов, энергии, рабочей силы до склада готовой продукции), то очевидно, что в топологическом отношении они изоморфны. Аналогом логической цепочки умозаключений, составляющих процедуру доказательства, в материально-вещественном производстве выступает переработка исходных компонентов в готовый продукт через последовательность взаимосвязанных операций — так называемая технологическая цепочка⁶⁶.

Характерно, что Кант, обращаясь к великому открытию Фалеса, видит в нем не столько топику логических взаимосвязей, сколько проективную, планомерную и в этом смысле последовательную работу разума. «Свет открылся тому, кто впервые доказал теорему о *равнобедренном треугольнике* (безразлично, был ли это Фалес или кто-то другой); он понял, что его задача состоит не в исследовании того, что он усматривал в фигуре или в одном лишь ее понятии, как бы прочитывая в ней ее свойства, а в том, чтобы создать фигуру посредством того, что он сам *a priori*, сообразно понятиям мысленно вложил в нее и показал (путем построения)»⁶⁷.

По сути дела, И. Кант характеризует тот образ мысли и действия, который в современной логике привычно связывается с понятием алгоритма. Именно алгоритмизацией мышления подготовлен тот *царский путь*, который математика, а вместе с ней расколдованная культура проложили, по словам Канта, «на все времена и в бесконечную даль». Алгоритм, еще не обретший своего нынешнего названия, разорвал цикличность античного времени, извлек мораль из этоса, придав ей мощный темпоральный импульс.

⁶⁶ Этимология слова «промышленность» достаточно точно указывает на характер процесса переработки вещества природы по плану, организованному человеческой мыслью.

⁶⁷ Кант И. Сочинения: в 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 84.

В отличие от этоса, родившегося в стихии народной речи, слово *алгоритм* — искусственное. В нем привычно слышится ритм, темп, время. Может быть, поэтому не всегда осознается, что в основе своей оно содержит преобразованное название места. Термин обязан своим происхождением великому ученому средневекового Востока Мухаммаду ибн Муса Ал-Хорезми. По его трактату в латинском переложении европейцы познакомились с индийской позиционной системой счисления. От латинизированной версии топонимического выражения Ал-Хорезми (т. е. уроженец Хорезма, хорезмиец) и пошло слово *algorithm*. (В русской транскрипции до недавнего времени считались равноправными два варианта перевода — *алгоритм* и *алгориџм*; последний, казалось, являл собой анаграмму другого математического термина *логариџм* — еще одна обманчивая подмена, связанная с этим замечательным словом.) Вначале оно применялось для обозначения десятичной позиционной арифметики и алгоритмов цифровых вычислений, а затем и для произвольных алгоритмов⁶⁸.

Конечно, тот образ мысли и действия, который впоследствии был назван алгоритмическим, существовал задолго до изобретения термина. Важно то, что кристаллизовался он в культуре только после того, как прошел «логическую обработку» и был математизирован. Алгоритмический характер мышления оттачивался в знаменитых апориях Зенона, демонстрирующих предписания, которым должен следовать разум, пытающийся, но не способный помыслить движение. Он шлифовался в наставлениях софистов, обогащаясь релятивной логикой реальных и абстрактных возможностей, утверждался в диалоге как форме последовательного научения и коммуникации.

Подготовку технологических цепочек будущих индустриальных производств, как, впрочем, и технологию получения нового знания, можно усмотреть и в схоластических приемах решения вечных вопросов бытия человека и сущности вещей. В этот пе-

⁶⁸ Успенский В. А. Предисловие к математике. СПб.: Амфора, 2015. С. 6–7.

риод оформляется дискурсивная текстовая культура, в которой алгоритм ремесла ткача и алгоритм мышления по правилам грамматики топологически (а иной раз и терминологически⁶⁹) не различимы. Апофеозом такого развития явилась рациональная организация индустриального типа. Можно сказать, что индустриализм был осуществлен европейской цивилизацией на основе рациональной программы, истоки которой коренятся в расщепленном ядре античного этоса.

Но прежде чем открытие Фалеса проявило себя в таком индустриальном качестве, оно должно было пройти через целую серию переоткрытий (своеобразных инкарнаций). О некоторых из них уже сказано выше, но решающий поворот в этом направлении был сделан благодаря усилиям Р. Декарта и Ф. Бэкона.

В «Правилах для руководства ума», а затем в «Рассуждении о методе» Р. Декарт достаточно определенно логику геометрических доказательств и построений переносит на процесс познания. Формулируя свои знаменитые четыре правила, которые должны служить не столько «для объяснения того, что нам известно», сколько для созидательного познания⁷⁰, он замечает: «Те длинные цепи выводов, сплошь простых и легких, которыми геометры обычно пользуются, чтобы дойти до своих наиболее трудных доказательств, дали мне возможность представить себе, что и все вещи, которые могут стать для людей предметом знания, находятся между собой в такой же последовательности»⁷¹. Но то, что Декарт говорит о вещи как предмете знания, легко может быть перенесено на предмет проектирования или производства. Собственно говоря, таким эскизным проектом индустриализации можно считать цитируемое произведение.

Требовалось только усилие, чтобы направить вектор рационального знания на цели преобразования природы. Как известно, оно было сделано великим современником Декарта Ф. Бэконом.

⁶⁹ Достаточно вспомнить крылатое выражение «Ни дня без строчки!» и задуматься над его исконным смыслом.

⁷⁰ Декарт Р. Сочинения: в 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 260.

⁷¹ Там же. С. 261.

Именно таким образом можно интерпретировать смысл провозглашенного им девиза «Знание — сила!». Храм был превращен в лабораторию, а затем и в мастерскую: алгоритм творения, а затем познания природы трансформировался в алгоритм ее преобразования, в технологию промышленного производства вещного мира.

Просветители, обратившие вектор знания на природу самого человека, мыслили воспитание всемогущим фактором переделки и тем самым закладывали основы педагогики как науки технической и технологической. Да и сам Кант, которому принадлежит приоритет в обнаружении истоков, поворотных моментов, точек ветвления потока, названного впоследствии Вебером «расколдовыванием культуры», не только совершил философскую революцию, но и осветил переход цивилизации на новые рельсы⁷².

Впрочем, и до И. Канта и после него взаимообратимость логики и технологии многократно переоткрывалась. Так, И. Ньютон, оперируя выражением *механическая философия*, полагал, что «сможет выводить все явления логически из принципов механики» и что понятие механика ошибочно замыкается на изделиях человеческих рук, в то время как ее предназначение в «дедуцировании движения планет, комет, луны и моря»⁷³. Наследницей механической философии стала философия производства Э. Юра, сформулированная им под прямым влиянием экономических работ английского математика Ч. Бэббиджа — изобретателя первой программируемой вычислительной машины⁷⁴. Его алгоритмический взгляд, обращенный на изучение производственных предприятий сначала в Англии, а затем и в континентальной Европе, позволил сформулировать общие принципы расчленения

⁷² Этот вывод, кажущийся и сейчас неожиданным, был сделан еще в начале века Н. А. Бердяевым и В. Ф. Эрном. См., например: Эрн В. Ф. От Канта к Крупну. Сочинения. М., 1991. С. 308–318.

⁷³ Цит. по: Митчем К. Что такое философия техники? М., 1996. С. 11–12.

⁷⁴ См.: Гутер Р. С., Полунов Ю. Л. От абака до компьютера. М., 1981. Показательно, что для управления машиной Бэббидж предложил применить механизм, аналогичный механизму ткацкого станка Жаккара.

производства на отдельные фазы, этапы, операции и последующего соединения их в непрерывный технологический процесс оптимальным образом. Как известно, Ч. Бэббидж явился теоретическим предшественником Ф. У. Тейлора, считающегося пионером научной организации труда на этапе индустриализации. Пример сравнительно недавнего переоткрытия — сетевой график — кооперационная модель производственного процесса. Удивительно, что произошло это, когда написание блок-схемы вычислительного алгоритма стало привычным и даже обязательным элементом программирования, да и профессия программиста была уже достаточно массовой⁷⁵.

Развертывание алгоритмического способа мысли и действия от первого доказательства к индустриальной организации — это одновременно и путь рационализации морали за счет ее алгоритмического извлечения из этоса⁷⁶. Рациональная этика создается по образу и подобию индустриальных производств. Могущество же последних в XX веке возрастает до такой степени, что, по утверждению Дж. Гэлбрейта, современное государство правильнее всего было бы рассматривать как индустриальное в связи с преобладающим значением и реальной властью, которые в нем приобрели индустриальные организации⁷⁷.

И все же этос оказывается неисчерпаем. Так, нравственный разлад, вызванный углублением разделения труда и появлением профессий, удалось ослабить благодаря актуализации профессионального этоса, что привело к возникновению и продолжительному существованию профессиональных этик.

Но уже в XX веке происходит подавление профессиональных ассоциаций более мощными организациями индустриального типа. При этом даже подсистемы гуманитарной направленности уподобляются им. Профессиональная мораль не способна в достаточной степени противостоять присущему организациям

⁷⁵ См. например, одну из первых публикаций на русском языке: Миллер Р. В. ПЕРТ — система управления. М., 1965.

⁷⁶ Действительно, каждому импульсу алгоритмизации можно поставить в соответствие некоторую рациональную этическую программу.

⁷⁷ См.: Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М., 1969.

инструктивному способу регуляции поведения. Она деформируется, зачастую сохраняется лишь в ритуальных формах. Возникает опасность ее аннигиляции. Но тут и сам индустриализм оказывается перед судом новой, глобальной этики.

Известный тезис о том, что люди «...должны иметь возможность жить, чтобы быть в состоянии “делать историю”»⁷⁸, неожиданно приобретает в этих условиях трагический смысл последнего предупреждения. Поэтому живучесть этоса, оставляя человечеству надежду на выживание, побуждает трезво оценить сущность и перспективы алгоритмов индустриального развития.

Проблемы глобального характера словно фокусируются в тех местах планеты, где баланс между Человеком и Природой легко может быть нарушен изменением содержания и масштабов человеческой деятельности. И в этом отношении приполярные территории (особенно районы интенсивного индустриального освоения) перестают быть чисто географическим понятием и превращаются в Полюс Культуры, предельное состояние, символизирующее гибельность безудержного распространения индустриальной экспансии.

Между тем, возвращаясь в относительно спокойное русло теоретического обсуждения проблемы, мы неизбежно приходим к вопросу: существуют ли помимо алгоритмического извлечения морали из этоса иные пути ее рационализации? Другими словами, существуют ли рациональные организации, отличные от организаций алгоритмического, индустриального типа? Это побуждает обратиться к феномену организации с более общих позиций.

⁷⁸ Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. М., 1989. С. 25.

Глава 3

ОРГАНИЗАЦИЯ

§1. Типология организационных структур

Организация стала объектом систематического изучения в период оформления социологии в качестве самостоятельной научной дисциплины. Но точку отсчета организационных построений и зачатки организационных идей трудно отнести к какому-либо определенному периоду: они прослеживаются на протяжении всей истории человечества.

Как правило, любое переосмысление социальной динамики или же культурно-исторической мозаики затрагивает значимые для человека феномены. Это справедливо и для предмета организационной науки. На фоне устоявшихся подходов, концепций, школ часто появляется потребность в неожиданном ретроспективном обзоре, в который явно или неявно привносится современный и заинтересованный взгляд. Показательно в этом плане высказывание одного из видных современных теоретиков организации К. Дж. Эрроу: «...среди всех творений человека использование организации для осуществления его целей — одно из самых великих и самых ранних его изобретений. Даже при отсутствии других свидетельств было бы ясно, что осуществление таких грандиозных строительных программ, как возведение четко распланированных городов вроде Нара и Киото, или таких монументов, как египетские пирамиды, невозможно без создания сложных организаций. В отношении менее материальных целей мы знаем, например, организацию империи инков в Перу, где

сложное и раскинувшееся на большой территории государство управлялось весьма четко с использованием всего лишь примитивнейших технических средств: они не знали ни письменности, ни колеса»⁷⁹.

Преимущества такого нерасчлененного, панорамного видения неоспоримы. Правда, достигается оно ценой известных потерь, поскольку теоретическая схема предварительно погружается в исторический контекст, а инструментальный характер организаций становится преднайденным. Кроме того, некоторая подмена исторического подхода логическим делает весьма условным различие позиций сознательности и стихийности, искусственности и естественности, рациональности и иррациональности происхождения и функционирования организаций, которые в течение полутора веков культивировала организационная наука⁸⁰.

И все же, несмотря на некоторый схематизм и условность приведенной точки зрения, в ней присутствуют (правда, в дорациональной форме) те функциональные типы организаций (производственный, властный, поселенческий), под воздействием которых эволюционировал этос.

Отталкиваясь от данной типологии, можно принять, что упомянутые организационные типы становятся рациональными, когда обладают четко выраженной, геометрически представимой структурой. Действительно, в состоянии «индустриальной зрелости» соответствующие оргструктуры вполне адекватно описываются в терминах теории графов⁸¹. Это графы различной геометрии: «дерево» (аналог схемы властной иерархии) и два

⁷⁹ Цит. по: Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем. М., 1973. С. 69.

⁸⁰ См.: Голднер Э. Анализ организации // Социология сегодня: Проблемы и перспективы. М., 1965. С. 445–476.

⁸¹ Из огромного числа книг, посвященных теории графов и ее приложениям, отметим достаточно популярную книгу: Оре О. Графы и их применение. М., 1965 (и последующие издания), а также богатую приложениями монографию: Басакер Р., Саати Т. Конечные графы и сети. М., 1974. В обеих книгах имеются терминологические словари.

вида сети — ориентированная, или «сетевой график» (о котором уже шла речь как об аналоге схемы алгоритма), и обычная (аналог структуры материально-вещественных, энергетических или же информационных потоков некоторой совокупности объектов). С другой стороны, различие организаций и их структур интуитивно ясно, поскольку известны типические социальные объекты, в которых они наиболее полно воплощены.

Подробное рассмотрение вариантов организационных структур и воплощающих их объектов-представителей еще впереди, а сейчас необходимо отметить, что указанные варианты — это своего рода *идеальные типы* (в терминологии М. Вебера), причем ни один из них не существует в чистом виде, а характеризует организацию социального объекта (либо отдельного его фрагмента) лишь по преобладанию, доминированию по отношению к остальным двум. Поэтому предложенная типология удобна не только с точки зрения геометрической иллюстрации, визуального представления моделей соответствующих структур — она облегчает их этическую интерпретацию. В этом смысле ее можно рассматривать в качестве аванпроекта этико-организационной теории, если таковая будет когда-либо создана.

Следует сказать, что предложенная типология отличается от тех, которые обычно приняты в работах по теории и социологии организаций, хотя и не противоречит им. Вполне возможно, что потребность в геометрическом представлении такого рода и не возникала. Ведь при этом сложные организационные структуры разлагаются не на элементарные составляющие, а лишь на более прозрачные, однотипные, но тоже достаточно разветвленные. Организационная наука шла, как правило, по пути изучения структур на «молекулярном» уровне. Эту задачу решал А. А. Богданов, выделяя два типа организационных форм: *эгрессию* и *дегрессию*⁸². Основное их отличие состоит в ориентации активности, геометрически же разные варианты микроструктур каждого из различаемых типов идентичны. Введенный Богдановым принцип *конъюгации* можно рассматривать в качестве родового по

⁸² Богданов А. А. Тектология: в 2 кн. М., 1989. Кн. 2. С. 99–152.

отношению к различным видам организационного сцепления. В то же время *цепная связь*, которая наиболее близка к схеме алгоритма, трактуется им как самостоятельный формирующий механизм⁸³. Ф. У. Тейлор, обобщая свои исследования на уровне соединения элементарных актов труда в технологическую цепочку, говорит о военном и функциональном типах организации, лишь намечая предпосылки различия между жесткой иерархией и менеджментом в сфере технологии. Данную идею развивал и его последователь Г. Эмерсон, трактуя первый тип как разрушительный, а второй — как созидательный⁸⁴. Но и это в основном отдельные признаки содержательных различий, никак не выразившиеся в моделях организаций. Нечто сходное воплощено в социологии М. Вебера, в частности в его исследовании бюрократии как идеального типа организации, и несколько под другим углом зрения в типологии социального действия и в типах господства⁸⁵.

Существенный вклад в типологию организаций вносили попытки их математико-кибернетического моделирования, характерные уже для второй половины XX столетия. Но сетевые графики почему-то не рассматривались при этом как самостоятельный организационный тип, и типологизация ограничивалась, как правило, иерархическими моделями.

Из отечественных авторов наиболее обстоятельно к типологии социальных организаций на макроуровне подошел А. И. Пригожин. Вначале он выделял четыре типа организационных образований: административные (предприятия, учреждения), союзные (общественные), ассоциативные (неформальные) и поселенческие. Два последних типа он считал пограничными формами, или полуорганизациями⁸⁶.

⁸³ Богданов А. А. Тектология: в 2 кн. М., 1989. Кн. 1. С. 142–155.

⁸⁴ Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности. М., 1972. С. 21.

⁸⁵ Поэтому продуктивной может стать попытка проследить аналогию между геометрией организаций и видами социального действия, особенно при внедрении этоса в другую культуру.

⁸⁶ Пригожин А. И. Современная социология организаций. М., 1995.

Предложенный Пригожиным типологический перечень основан на примате иерархической оргструктуры и упорядочен по степени убывания иерархической жесткости объектов-представителей. Поэтому и поселение, где эта жесткость проявлена в наименьшей степени, «не тянет» на полноценную организацию. Каким же способом в таком случае поддерживается целостность поселенческого объекта? Только ли коммуникативно-информационным? К выводу о том, что одним лишь иерархическим упорядочением в организационном описании социальных объектов не обойтись, пришел в дальнейшем и сам А. И. Пригожин, но методом от противного. В книге с символическим названием «Дезорганизация»⁸⁷, написанной спустя два десятилетия, он особое внимание уделяет факторам патологии организационных структур. Это в какой-то степени подтверждает методическую оправданность предложенной нами типологии. И не только потому, что более объемной становится картина рационализации морали. Поскольку мораль менее всего «искажается» в слабо иерархизированных структурах, поскольку по месту жительства, в добрососедстве, в неформальном общении она утверждается в не меньшей, а может быть и в большей степени, чем на производстве, то поселенческий угол зрения, наряду с технологическим, позволяет сделать «моральный прогноз» постиндустриального развития региона, куда люди приехали жить, чтобы работать, а теперь остаются работать, чтобы жить.

§2. Организационная анатомия морали

Ранее уже был рассмотрен алгоритмический тип оргструктуры (*сетевой график*). К его этической интерпретации мы еще вернемся. А сейчас обратимся к остальным двум, которые схематично тоже были намечены. Перед тем, как приступить к их подробному описанию, хотелось бы подчеркнуть, что сами оргструктуры как «идеальные типы» не эволюционируют. Расширяются и усложняются воплощающие их социальные объ-

⁸⁷ Пригожин А. И. Дезорганизация. М., 2007. 402 с.

екты. Извлечение рациональной морали из этоса, безусловно, происходит под воздействием кумулятивного эффекта. И поскольку трудно отделить долю действия каждого из факторов, можно рассматривать предложенную попытку прежде всего как методический прием.

Поселенческий тип организации проявляется в дискретных формах взаимодействия людей. Поэтому его представительным воплощением может быть только город. Город — рабочая модель развертывания особого типа рациональности⁸⁸. Однако подлинной рациональной организацией город становится лишь в связи с осознанием себя как системы, подчиненной определенному плану. Скорее всего, истоки городской рациональности тянутся к периоду возникновения научного географического мышления, т. е. опять-таки к Фалесу и его современникам. Это мышление противопоставлено природе, в нем присутствует проективный, творящий импульс. Поэтому начинается научная география не с карты как таковой, а с чертежей, соотношений подобия и счетно-доказательных выводов⁸⁹.

Эволюция города — это постепенная рационализация поселенческого взаимодействия⁹⁰. В цепи этой эволюции «Град небесный» есть не столько мифологический архетип, сколько рациональный проект гражданского переустройства в соответствии с христианским образцом, а его преемник «Город Солнца» — воплощенное торжество земной разумности. Другие, более скромные, но подчас не менее утопичные, варианты урбанистических проектов демонстрируют способ рационального самоограничения

⁸⁸ Показательно, что к городу в качестве основной «рабочей модели» обращаются Р. Декарт в своих «Рассуждениях о методе», И. Кант в «Критике чистого разума», М. Вебер в одноименном произведении, О. Шпенглер в «Закате Европы» и другие мыслители.

⁸⁹ Фалесу принадлежит один из первых социально-географических проектов — проект конфедерации ионийских городов.

⁹⁰ Мирча Элиаде приводит убедительные примеры «дорациональных» небесных архетипов земных форм расселения: территорий, замков, городов. См.: Элиаде М. Космос и история. М., 1987. С. 34–38.

реляционной модели поселенческого взаимодействия⁹¹. И современная география, которую еще недавно влекли дальние неизведанные земли, обнаружила настоящую terra incognita в плотно-заселенных урбанизированных районах. Здесь, по мнению исследователей, возникает барьер сложности во взаимодействии человека со средой обитания⁹², который в чем-то сродни тупику индустриализма. Этот барьер может быть истолкован как предел поселенческой рациональности, ее нравственный кризис⁹³.

В наше время трудно представить себе социальный объект с преобладанием поселенческого типа в организационной триаде. Исключением могут быть разве что дачные поселки да городские микрорайоны, получившие название «спальных». Поселение является внепроизводственной организацией лишь по преимуществу топологического признака. Однако в поселенческой организации, как и в любой рациональной системе, человеческие контакты в значительной степени технически и технологически опосредованы. Здесь мораль извлечена из этоса в виде кодифицированного комплекса норм поддержания городской жизни. Но она сама нуждается в поддержке целого ряда технических, рационально организованных комплексов. Так, призыв городской морали: «Увидев безобразие, не проходите мимо!» — может быть реализован не столько непосредственным участием в устранении «безобразия», сколько как сигнал (почти донос!) в одну из городских служб или инстанций управления. Касается ли дело экстренного случая или же менее спешного, но общезначимого вопроса, техника передачи—приема—исполнения должна вызывать доверие, т. е. быть доступной, отработанной и надежной. Тем самым нравственную оценку получает не поведение людей в системе, а сама безличная система. В неисправной, работающей со сбоями системе мораль перестает быть созидательной основой городской жизни и начинает подвергаться эрозии равнодушия или озлобленности. Происходит обнажение этоса, который

⁹¹ Данциг Дж., Саати Т. Компактный город. М., 1977.

⁹² Перцик Е. Н. География городов (геоурбанистика). М., 1991. С. 5.

⁹³ Лаппо Г. М. География городов. М., 1997. С. 126–152.

в данном случае проявляет себя уже не как инвариант истории, а как воплощенный в Духе Места⁹⁴ географический инвариант. Поэтому «возвращение к месту» — это особый вид ностальгии, характерный для крупных городских агломераций.

Производственный тип оргструктуры, соединяясь с поселенческим, задает алгоритмы роста городов: расширение территории и уплотнение заселения. Схема поселенческого взаимодействия становится неоднородной. Помимо план-схемы города существенное значение приобретают схемы инженерных сетей, транспортных коммуникаций, телефонной и иной внутригородской связи, структура средств массовой информации и другие информационно-коммуникационные подпространства. Как гласит английская поговорка: «Бог придумал деревню, а человек — город». Следствием из нее (с некоторыми оговорками) может быть формула: *крестьянин — универсал, а горожанин — профессионал*. То есть соединение производственного типа оргструктуры с поселенческим имеет еще один аспект — профессиональный. Не рассматривая его в качестве самостоятельного организационного феномена, мы тем не менее в дальнейшем не раз коснемся проблематики профессионального этоса.

Кроме негативных моментов технологической перегрузки, которую испытывает городская мораль, одно из самых ощутимых посягательств на нее — вмешательство властного принципа. В городе есть центр и окраина, центральные и периферийные органы есть практически у всех городских систем. Городская география власти поляризует мораль, а без технически и властно обеспеченной обратной связи она деформируется.

В условиях экстенсивного роста городов и производств во властном принципе зачастую видится радикальный способ ограничения подобного роста. Это обманчивое представление. Властный принцип не может существовать только как символ,

⁹⁴ Дух места (Гений места, гений локуса — калька с лат. *genius loci*) — в римской мифологии дух-покровитель того или иного конкретного места. Выражение «*genius loci*» стало популярным в европейской литературе XVIII века и оказало заметное влияние на литературные и архитектурные вкусы.

внушающий страх или поклонение. Он технологизируется, производит адекватную себе структуру управления, хотя, конечно, сохраняет неисчерпанное символическое содержание.

Уместно остановиться на властном типе организационной структуры более подробно. Хотя он, как и первые два, не существует в чистом виде, у него есть свое типическое воплощение. Это армия или другая военизированная организация с жестко заданной властной иерархией. Есть у него и еще один существенный признак. Если производственная организация — это прежде всего процесс (время), а поселенческая — статична, привязана к месту, то властный тип структуры существует словно вне времени и места, не нуждаясь в реконструкции. Он отчетливо проявлен в древних текстах, понятен без дополнительной подстановки в контекст эпохи. Пожалуй, со времен архаики властный принцип рассматривался как универсальный способ целенаправленного построения вооруженных отрядов, трудовых функций, да и самих сооружений, символизирующих власть: пирамид, столпов, мавзолеев...

Подтолкнул ли он рационализацию остальных организационных типов, поскольку препятствием для властвования является слитный трудовой процесс и слитное расселение? Это достаточно спорный тезис. Ведь чем жестче иерархия, тем более контролируемы являются коммуникационные каналы между ее ярусами и между организацией и внешней средой. Более скудным становится информационный обмен. Это можно видеть на примере функционирования различных иерархий: церковных и криминальных, рыцарских орденов и тайных обществ, закрытых учебных заведений и исправительно-трудовых учреждений... В этой жесткой структуре формируется и вполне определенный нравственный кодекс: властных амбиций и раболепия, круговой поруки и доносительства, «солдатских добродетелей» и «офицерской чести». Может быть, тайна иерархии (как и тайна всякой власти, любого неравенства) обеспечивает ей столь авторитетное признание, поскольку до сих пор иерархия считается сущностным признаком социальной организации, ее опознавательным знаком.

Тем не менее, преувеличение значимости иерархического типа оргструктуры чревато некоторыми методологическими упущениями. За кажущейся естественностью, с которой властный принцип, реализуясь в древовидном типе организации, соединяется с производственными структурами, теряются смысл и значение основного изобретения Ф. У. Тейлора. Проблема сочетания двух топологически различных структур (управления людьми и управления разветвленным процессом поточного производства), которую удалось поставить и разрешить Тейлору, не обозначилась до тех пор, пока производство оставалось доиндустриальным, т. е. ручным либо слабо механизированным. Орудия труда были «привязаны» к отдельным исполнителям, их агрегирование осуществлялось на основе жесткой иерархии или же свободного ассоциирования. Положение изменилось на рубеже веков, когда возникли крупные механизированные предприятия. Синтез властного и индустриального типов организации достигался почти полным отделением планирования труда от его непосредственного исполнителя и дался ценой подчинения человека машине, ценой утраты работником своей субъективности. То есть на самом деле управление людьми было подчинено управлению технологическим процессом, а не наоборот, как следовало бы из господства властной иерархии.

С учетом этого замечания обратимся к этической интерпретации оргструктуры производственного типа. В какой-то степени она подсказана эволюцией моделей, сменивших классическую школу научной организации труда. Дело в том, что сама по себе классическая школа, особенно на этапе тейлоризма, довольствовалась упрощенным пониманием деятельности работника. За ним по-прежнему признавалось право на «солдатские добродетели»: исполнительность, дисциплину, ограниченную ответственность. При этом в обстановке эйфории полной управляемости как-то не осознавалась смена «главнокомандующего», а именно — подмена властных полномочий администратора властью технологии. Здесь свою роль сыграло и уравнивающее влияние концепции А. Файоля, сосредоточившего свое

внимание не на агрегировании трудовых операций, а на декомпозиции административных⁹⁵. Отсюда необходимость различать линейное руководство и штабные функции, рост внимания к управленческой информации и каналам обмена, а значит, и некоторая уступка человеческому фактору за счет признания коммуникативных проблем, не решаемых на организационно-структурном уровне.

На данном этапе организационной эволюции, наряду с отработкой моделей индустриальной динамики, происходила закладка основ их постиндустриальной трансформации. В какой-то степени она подготовлена критикой тейлоризма в рамках доктрины человеческих отношений, а затем и доходящей до памфлета этической критикой самого организационного феномена. «Конвейерный человек» Чарли Чаплина уже в послевоенные годы уступает место нравственно невменяемому «Человеку организации» У. Уайта. За ними следуют «Законы Паркинсона» и «Принцип Питера», «Канторские будни» К. Уотерхауса и множество других памфлетов аналогичной направленности. Вместе с тем острие этой критики по инерции было нацелено на иерархическое строение современных организаций, на их бюрократическое устройство. Правда, наряду с этим, всегда существовал относительно спокойный, нейтральный анализ организационного феномена. Достаточно вспомнить понятие *организационная мораль*, присутствующее в работах Ф. Селзника, Ч. Барнарда и Г. Саймона. По мнению исследователей, оно предвосхитило понятие *организационная культура*, детальная проработка которого относится уже к концу 1970-х годов⁹⁶. И все же технологическая взаимообусловленность участников про-

⁹⁵ В основе концепции А. Файоля лежали 14 принципов администрирования, обобщавших собственный опыт превращения компании, находившейся на грани банкротства, в могущественный горно-металлургический концерн. Книга А. Файоля «Общее и промышленное управление» вышла во Франции в 1916 году. Под ее влиянием находились многие американские преподаватели и пропагандисты научного менеджмента.

⁹⁶ Шейн Э. Организационная культура и лидерство. СПб.: Питер, 2013. 352 с.

цесса производства и управления часто оставалась за рамками этического анализа⁹⁷. А это означает, что не получила должного освещения алгоритмическая доминанта, характерная и для локальных феноменов нравственности, и для всей моральной системы общества. Между тем, в актив алгоритмической трансформации могут быть включены индустриальный ритм трудовой морали, модернизация профессионального этоса, способность современного человека к многовариантному проектированию своей биографии, его умение жить по расписанию с включенностью во множество организационных орбит. В число нравственно одобряемых давно занесены такие качества личности, как точность, аккуратность, собранность, которые в доиндустриальную эру могли рассматриваться как нравственно нейтральные или даже свидетельствовать об излишнем педантизме. Особого внимания в связи с этим заслуживает темпоральность современной морали, во многом обусловленная алгоритмическим характером труда, быта, рекреационной сферы⁹⁸.

§3. Предпосылки самоорганизации

Теперь, когда рассмотрены варианты субординированного взаимодействия трех основных типов оргструктуры и проведена их первоначальная этическая интерпретация, яснее проступает второй план проблемы, до сих пор остававшийся незатронутым. А именно: имеет ли мораль, понимаемая как особый способ организации, свою специфическую топологию, отличную от приведенных выше типов.

Точнее было бы сказать, что, уходя от ответа на этот вопрос, мы тем самым отвечаем на него отрицательно. То есть неявно подтал-

⁹⁷ На технико-технологическую обусловленность образования неформальных групп обратили в свое время внимание исследователи Тавингтонского института в Англии. Но в данном случае в центре внимания были социально-психологические аспекты «притирки» работников друг к другу в человеко-машинном производстве, а не их морально-деловые качества.

⁹⁸ Зубец О. П. Динамика нравственной жизни. Ценностное сознание и социальное время. М., 1988.

квиваем себя к выводу о том, что у морали отсутствует собственная изначальная оргструктура, что она в силу особой пластичности способна обживать, осваивать организацию, принимать ее формы, «проникать в ее поры», «обволакивать» ее структуру. Но такая характеристика явно неполна. Она приводит к выводу о вторичности морали по отношению к структурированным видам социальной действительности. Возникает упрощенное, одномерное толкование их контакта, не отражающее системного характера взаимодействия. И хотя на таком пути можно сформулировать некоторые предпосылки гуманизации организаций, например, методами их организационной перестройки под соответствующие приоритеты⁹⁹, в нем заметна изнанка утилитарного подхода.

Между тем, нравственная неменяемость «человека организации» давно перестала быть публицистическим образом. Она признана эмпирическим фактом. Охватившая в свое время индустриальный мир ностальгия по доорганизованному обществу специфическим образом проявилась на отечественной почве. В 1980-е годы в гуманитарно ориентированной среде противопоставление нравственности и организации по всему фронту их взаимодействия культивировалось в форме протеста против «оков тоталитарности». Мы уже касались этих вопросов: вскользь затронутые в начале работы, они были затем частично развернуты при этической интерпретации различных типов оргструктур. Теперь предстоит дать им более широкую теоретическую трактовку.

Как попытку преодоления утилитарного подхода, с одной стороны, и одновременно противостояния «этическому экстремизму» — с другой, можно рассматривать предложенную нами в свое время теоретическую позицию, согласно которой мораль и организация соотнесены в родовом отношении как виды социального порядка¹⁰⁰. Подобное соотнесение уже само

⁹⁹ Ганопольский М. Г. Экспертные возможности этического оргпроектирования // Гуманитарная экспертиза: Возможности и перспективы. Новосибирск, 1992. С. 84–108.

¹⁰⁰ Ганопольский М. Г. Этика Севера: предпосылки организационного видения // Этика Севера: сб. науч. тр. Томск, 1992. Т. 1. С. 70–97.

по себе исходит из рядоположенности обоих феноменов, их однородности. Подчеркивая такое равноправие в рамках предложенной теоретической схемы, мы хотели бы дополнить это предположением об их двойственности¹⁰¹, т. е. возможности взаимоперехода при обоюдной структурной перестройке. То, что мораль способна осваивать организацию, оживлять инструктивный способ регламентации (свойственный не только властному, но и производственному типу оргструктуры), вряд ли подлежит сомнению. Не столь очевидным и недостаточно исследованным является вопрос о нравственной парадигме организационной структуры, об ее отчуждении в структурированных формах социальной действительности, о деятельностном развертывании нравственности посредством организации.

Нельзя сказать, чтобы научная мысль полностью игнорировала подобные подходы. В этике в свое время оживились попытки реабилитации биологически ориентированных эволюционных концепций¹⁰². В организационной науке продвижение в сходном направлении наметилось в последние десятилетия в связи с активным обсуждением идеи самоорганизации.

Конечно, в постановке проблем самоорганизации в чистом виде принято признавать приоритет кибернетики, сначала имевшей дело со сложными объектами искусственного происхождения. Но у этой проблемы есть очевидные философские, социологические и естественно-научные предпосылки. Философия собственными средствами разрабатывала ее в контексте проблематики саморазвития. Социология шла к ней посредством исследования и разработки идей общественного самоуправле-

¹⁰¹ Под двойственностью в широком смысле понимают свойство внутренней симметрии аксиоматической теории, выражающейся во взаимозаменяемости основных понятий.

¹⁰² Имеется в виду общественный резонанс на статью В. П. Эфроимсона «Родословная альтруизма». См. также: Эфроимсон В. П. Генетика этики и эстетики. М., 1995 (в книгу включена статья А. А. Любичева «Генетика и этика»); Рьюз М. Эволюционная этика: Здоровая перспектива или окончательное одряхление? // Вопросы философии. 1989. № 8. Были переизданы этические работы П. А. Кропоткина.

ния. Эволюционная концепция Ч. Дарвина, утверждавшая, что в мире происходит непрерывное рождение все более сложных организованных живых форм, структур и систем, также внесла свой вклад в понимание феномена самоорганизации.

Фундаментальная интеллектуальная подготовка к последующему сближению философского, социологического и естественно-научного подходов была предпринята в начале XX века А. А. Богдановым. Справедливо считается, что его «Тектология» предвосхитила появление кибернетического и системного подходов¹⁰³. В этом же направлении происходила эволюция организационных моделей в американской социологии. И все же пафос полной и окончательной кибернетизации так и не сумел преодолеть очевидные различия между способами управления и самоуправления объектами техническими, биологическими и социальными. С этим, очевидно, связан новый импульс интереса к феномену организации. Но, как это часто бывает, толчком к коренному пересмотру позиций послужили исследования в области знания, казалось бы, далекой от привычной организационной проблематики. Речь идет о неравновесной термодинамике.

При формировании естественно-научной картины мира, основанной на идее самоорганизации, возникла известная асимметрия в понимании законов развития живого и неживого. Камнем преткновения здесь стало второе начало термодинамики, согласно которому замкнутые системы неорганического происхождения энтропийны, т. е. переходят от более упорядоченных состояний к менее упорядоченным. В живой же природе, в соответствии с концепцией Ч. Дарвина, эволюция идет в сторону повышения уровня организованности. Долгое время оба подхода — физикалистский и дарвинистский — сосуществовали, не споря друг с другом и не пересекаясь. Основной прорыв, как уже сказано, был осуществлен в работах по неравновесной

¹⁰³ Наиболее полная библиография работ, обосновывающих данный вывод, содержится в предисловии к изданию: Богданов А. А. Тектология: в 2 кн. М., 1989. Кн. 1. С. 7–35.

термодинамике, в частности в исследованиях И. Пригожина по диссипативным (колеблющимся) структурам, способным создавать порядок в условиях постоянного обмена с внешней средой. Буквально за последние два десятилетия здесь были получены результаты, позволившие посмотреть на целую группу процессов различной физической природы (формирование диссипативных структур, фазовые переходы в лазерной генерации, бистабильные структуры триггерного типа и т. д.) как на процессы самоорганизующиеся, идущие с превращением беспорядка в порядок. Сформировался синергетический подход, который вскоре стал трактоваться как новая познавательная парадигма, впитавшая идеи и методы осмысления понятия самоорганизации, развитые в различных областях знания¹⁰⁴. Критическое переосмысление второго начала термодинамики устраняло препятствия в распространении универсального эволюционизма на всю картину мира. Решающее значение имело и то обстоятельство, что пропагандировали новый подход не только философы, но и ученые, достигшие значительных результатов в области синергетики и ее математического обоснования¹⁰⁵.

Может быть, несколько отдаляясь от основной темы, стоит упомянуть, что многие исследователи считают, что рассматриваемый интеллектуальный прорыв был подготовлен все же в *лаборатории гуманитарного знания*, в частности под влиянием историографического направления «Анналы» (М. Блок, Ф. Бродель, Ж. Февр). В какой-то степени это признает и сам И. Пригожин¹⁰⁶. Показательна в данном случае и точка зрения Ю. М. Лотмана, рассуждавшего о том, насколько близки в методологическом отношении попытки осмыслить противозэнтропийные механиз-

¹⁰⁴ Понятие «синергетика» было введено Г. Хакеном для обозначения процессов самоорганизации и кооперативности — совместного координированного действия. Оно довольно быстро вошло не только в естественнонаучный, но и гуманитарный лексикон.

¹⁰⁵ См.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. М., 1986; Арнольд В. И. Теория катастроф. М., 1991.

¹⁰⁶ См.: Пригожин И. Переоткрытие времени // Вопросы философии. 1989. № 8.

мы в истории с исследованием необратимых процессов в естествознании¹⁰⁷. Оптимистично звучат его слова о том, что «наука о человеке в целом из области научной периферии превращается в общенаучный методологический полигон»¹⁰⁸.

Впрочем, за последнее десятилетие синергетическая тема в научной литературе стала достаточно популярна. Философские, социологические и другие журналы социогуманитарной направленности посвятили ей круглые столы и целые тематические номера. Поэтому сейчас нет необходимости специально обосновывать правомерность обращения к синергетическому подходу. Тем более, что предлагаемая схема взаимоперехода морали и социальной организации, о которой пойдет речь, основана лишь на одной из моделей развиваемой И. Пригожиным теории диссипативных структур. Согласно данной модели, вводится регулярное описание поля *элементарных событий* — флуктуаций, способных создавать структуру как некую упорядоченность. При этом одновременно используются стохастический и детерминистский подходы. Стохастическое описание оправдано там, где происходит появление новых структур, а именно в точках ветвления системы (их еще иногда называют точками бифуркации). Между ними система вполне устойчива и достаточно адекватно может быть описана на детерминистской основе¹⁰⁹. Данная схема проясняет нравственный аспект структурной перестройки социальной организации. Эта перестройка характеризуется целым рядом качественных признаков, свойственных структурно упорядоченным объектам произвольной природы. Их социальная интерпретация не только вооружает здравый смысл, но и может служить ориентиром в принятии решений.

Нас же интересует проявленность морального фактора и преимущественно его отклик на уменьшение меры организованности, связанное с распадом структуры. В этом случае, в соответствии с принятой схемой, естественным дополнением рас-

¹⁰⁷ Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. М., 1996. С. 321–324.

¹⁰⁸ Лотман Ю. М. Культура и взрыв // Семиосфера. СПб., 2000. С. 23.

¹⁰⁹ Пригожин И. От существующего к возникающему. М., 1985.

падающейся организации является структурирование ситуации морального выбора. То есть «организационный хаос» призывает к структурированию поле элементарных поведенческих актов, расчищает и кристаллизует ценностно-мотивационное пространство. В координатах данного пространства и происходит закладка нравственной парадигмы будущей организационной структуры в качестве ее «фундамента» и «каркаса».

Конечно, предложенная схема может интерпретироваться достаточно широко, но хотелось бы сразу «заземлить» ее на проблемы этической регионалистики. Если рассматривать освоение регионов как стадийный эволюционный процесс с характерными организационными формами, то можно обратиться к уже упоминавшейся аналогии между территорией как единицей географического пространства и структурированной организацией как единицей пространства «внегеографического», в широком смысле социального. Тем самым становление региона представимо не только как стадийное, но и послойное освоение, воплощающее определенные нравственные парадигмы. Разговор об этом еще предстоит, но несколько опережая его, охарактеризуем эвристический потенциал данной схемы в региональном аспекте.

Прежде всего, она побуждает выявить реализованные в организационных формах исходные нравственные парадигмы, сделать их фактом сознания, предметом этического осмысления. Появляется возможность локального описания различных фрагментов общей нравственной ситуации, согласуемых между собой и в территориальном, и в производственном аспектах. Открываются пути корригирующего воздействия этического знания на нравственную атмосферу региона через «заинтересованного посредника» — общественное мнение региональной общности. И если попытаться сформулировать не только предпосылки организационного видения этических проблем регионального развития, но и их перспективу, то в фокусе его будут находиться самоорганизация и саморегуляция социальной жизни региональных сообществ, а значит, и мораль, органично вмонтированная в организованные формы их социальной динамики.

Глава 4

ОСВОЕНИЕ

При ретроспективном анализе освоения северных сибирских регионов обнаруживается целый ряд совпадений, которые определили неповторимость данного периода. Может быть, поэтому не так уж богат арсенал средств философской рефлексии активного промышленного наступления на Север. Как правило, большинство работ на эту тему в соответствии с традициями того времени, притязали на уровень диалектики всеобщего и пренебрегали логикой единичного, уникального. В этом отношении выделяются работы тех исследователей, которыми смысл индустриального освоения не только изучался теоретически, но и эмпирически наблюдался в силу естественной включенности в происходящее¹¹⁰.

Между тем, если попытаться, следуя М. Веберу, действовать методом каузального сведения, то существенным оказывается и то, что стандарт освоения был индустриальным, и то, что осваивались слабозаселенные территории, и то, что земли эти приполярные. А также многое другое, что так или иначе формировало духовную ситуацию рассматриваемого периода и продолжает сказываться на ее развитии по сей день. Поэтому предстоящая

¹¹⁰ См., например, сборники: Теория развития: проблемы Западной Сибири. Тюмень, 1987; Социально-философские проблемы освоения новых территорий. Тюмень, 1988; Ценности процесса освоения. Тюмень, 1990. Гуманитарные проблемы освоения. М.; Тюмень, 1990; Западная Сибирь — проблемы развития. Тюмень, 1994 и др.

реконструкция этических парадигм освоения будет предпринята нами поочередно под разными углами зрения.

И все же за аспектным взглядом хочется рассмотреть (или по крайней мере не упустить из виду) стержневые направления эволюции этоса, который в этот период не просто приобретает местную специфику, а становится региональным по своей сути. Поэтому дальнейшее изложение построено в двух проекциях: *освоение этоса* и *этос освоения*. В первом случае — это попытка разобраться в некоторых способах перевода этоса и его материально-вещественных репрезентантов на язык отечественной культуры, во втором — стремление выявить этические парадигмы становления и развития исследуемого региона.

§1. Внедрение

Ранее уже говорилось о том, что в лоне своего естественного развития этос прошел несколько этапов. При этом доминантой его эволюции была общая тенденция рационализации западной культуры. В предыдущих главах данный процесс (названный К. Марксом демистификацией культуры, а М. Вебером с несколько иных позиций — ее расколдовыванием) рассматривался преимущественно в ракурсе алгоритмического (праиндустриального) извлечения морали из этоса. Были также рассмотрены и другие типы рациональных организаций, способствующие извлечению нравственности в ее рациональных формах. В дальнейшем особое внимание будет уделено еще одной стороне рационального развертывания этоса. Речь пойдет о пределах алгоритмического роста. А сейчас предстоит подробнее остановиться на особенностях отечественной версии расколдовывания этоса.

Русская культура неоднократно становилась получателем и «освоителем» иного опыта, преподносимого подчас как общемировой. Наиболее известны два таких судьбоносных момента: крещение Руси и реформы Петра I¹¹¹. В обоих случаях последовал

¹¹¹ Возможно, впоследствии к ним причислят и другие переломные моменты истории — например, Февральскую и Октябрьскую революции 1917 года.

мощный ответный всплеск национальной культуры. Рискнем предположить, что эти периоды в меньшей степени способствовали формированию западноевропейского самосознания: католицизм начал формироваться через полвека после крещения Руси, а осознание Европы как «цивилизации вещей» было зафиксировано И. Кантом вскоре после Петровских реформ. И все же, как реагировала российская самобытная культурная среда на чужой нравственный опыт, сконцентрированный в религиозной, а затем в светской форме? Велика была цена, заплаченная за это «добровольное» внедрение. Даже тех скудных свидетельств, которые повествуют о принятии христианства, достаточно, чтобы картина не выглядела всеобщим ликованием¹¹².

Вряд ли стоит в рамках нашей работы анализировать эту реакцию с точки зрения «плюсов» и «минусов» дальнейшего культурного развития. Нас интересует в основном более поздняя «оптимистическая трагедия» расколдованного этоса. Его внедрение в отечественную культуру произошло уже в достаточно зрелых формах в оболочке науки, образования, индустрии — составляющих *Петровской вестернизации*. Слово *внедрение* здесь ключевое. Им привычно именуют перевооружение производства на основе научно-технических, технологических, организационных достижений. Но присутствуют в этом слове и отголоски первоначального значения — *проникновение в недра*. Почему же достижения научной и технической мысли, да и, пожалуй, любые новшества приходится *внедрять* и тем самым с усилием преодолевать сопротивление косной, пассивной среды? Еще недавно это объясняли реакционностью царского режима дореволюционной России, затем — бюрократизмом чиновников и засильем ретроградов, наконец, несовершенством социальных и экономических отношений. Постепенно становилось ясно, что преобразования должны быть достаточно глубокими, чтобы научно-техническая модернизация стала естественным моментом функционирования производства. Теперь, когда позади череда неудавшихся реформ, порой возникает сомнение, возможно ли это в принципе.

¹¹² Повесть временных лет // Изборник: Повести Древней Руси. М., 1986. С. 40–44.

Тем самым речь может идти о неприятии технической цивилизации как об отличительной особенности отечественной культуры. Для нее этот вопрос в определенные моменты становился существенным, даже роковым (причем в большинстве случаев он непосредственно формулировался как вопрос нравственный). Иногда он звучит как вопрос о роли техники в культуре или же о тех формах техники, которые могут быть ею выдвинуты либо освоены. Предметом философской рефлексии он стал в начале века, когда обнаружилось некоторое сходство мрачных пророчеств индустриального «Заката Европы» и апокалипсических настроений, характерных для русской культуры.

Однако прежде чем проследить эту линию освоения этоса, хотелось бы обратить внимание на то, что каждое из направлений Петровских реформ, несмотря на общность происхождения и внедрения, имело свою, вполне автономную траекторию развертывания в теле культуры, свой этический смысл.

§2. Образование и наука

Современные историки видят в Петре I «своеобразного “сталкера” — человека, завезшего ряд инородных, чужеродных социальных организмов, которые — не без долгих усилий со стороны энтузиастов — стали жить собственной жизнью и постепенно преобразовали традиционную русскую культуру»¹¹³. Казалось бы, задача распространения и культивирования знаний, их приумножения является в данном случае наиболее благоприятной, естественной, не требующей насильственного внедрения. Между тем, как известно, постановка научных исследований и просветительской деятельности по примеру Западной Европы, наталкивалась на глухое, а иногда и яростное сопротивление. И дело вовсе не в воинствующем невежестве или дикости петровской России, как это иной раз преподносится. Во всяком случае, мужское население крупных городов было довольно грамотным.

¹¹³ Кузнецова Н. И. Социальный эксперимент Петра I и формирование науки в России // Вопросы философии. 1989. № 3. С. 49.

Но это была особая грамотность, основанная на сакральном отношении к книге и содержащимся в ней вечным истинам¹¹⁴. И книга, и книгопечатание, и существовавшие в то время образовательные институты были выражением совершенно иного ценностного пространства, или, можно сказать, — совершенно иного образовательного этоса. Видимо, поэтому первой реакцией на новшества стал нравственный протест. Но этим дело не ограничилось — за ним последовал, может быть, не всегда осознаваемый, нравственный разлад. «До XVII в. русское общество отличалось цельностью своего нравственного состава. Боярин и холоп неодинаково ясно понимали вещи, неодинаково твердо знали свой житейский катехизис; но они черпали свое понимание из одних и тех же источников, твердили один и тот же катехизис и потому хорошо понимали друг друга, составляли однородную нравственную массу, если позволительно так выразиться. Западное влияние разрушило эту цельность. Оно не проникало в народ глубоко, но в верхних классах общества, по самому положению своему наиболее открытых для внешних влияний, оно постепенно приобретало господство»¹¹⁵.

По каким же направлениям происходило утверждение этого господства, а значит, и двойного нравственного стандарта? Направления эти почти дословно совпадают с рассмотренными ранее путями рационального извлечения морали из этоса в его европейском варианте. Похоже, рациональная система знания, внедряясь в иную культурную среду, подчиняет ее соответствующим организационным формам.

Во-первых, Академия и созданные при ней Университет, Кунсткамера, Библиотека были не только научно-просветительскими учреждениями, но и частью совершенно нового для Руси городского ландшафта. Вместе с Фондовой биржей, Адмиралтейством, царским дворцом, непохожим на привычный кремль, они заложили основы принципиально иной *поселенческой орга-*

¹¹⁴ См.: Панченко А. М. Русская культура в канун Петровских реформ. Л., 1984. С. 166–170.

¹¹⁵ Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 13.

низации со своими смыслообразующими и коммуникативными центрами.

Во-вторых, необходимость подготовки дворянской молодежи к государственной службе осознавалась как задача *технологического* обучения, *технологической «обработки»*. Законом от 20 января 1714 года было введено обязательное обучение для дворян. В соответствии с этим законом юноша-дворянин мог жениться только после окончания школьного курса¹¹⁶. Но это был не единственный способ пропустить как можно большее число молодых людей дворянского сословия через *алгоритм* образования по европейскому образцу. «Разнообразные стимулы были приведены в действие, чтобы двинуть все сословие на служение государству: школьная палка, виселица, инстинкт, привязанность к соседке-невесте, честолюбие, патриотизм, сословная честь... Люди, привыкшие двигаться не торопясь, по однообразным утоптаным тропинкам, теперь вытолкнуты были на непривычные поприща деятельности. Куда только не посылали, что только не заставляли изучать русского дворянина при Петре! Командированные толпами перебивали в Лондоне, Париже, Амстердаме, Венеции, учились мореходству, философии, математике, дохтурскому искусству»¹¹⁷.

В-третьих, хотя в данном случае власть сама стала проводником технологических новшеств, для того, чтобы они внедрялись, необходима была взаимообусловленность их организационных форм. Следовательно, потребовалась соответствующая *рационализация властной иерархии*, а не просто использование кнута и пряника, подкрепленное всесилием самодержца. И это также было составной частью реформ. Становление дворянского сословия и его верхнего эшелона — царедворцев, устройство регулярной армии, введение Табели о рангах, появление Сената в качестве специального правительственного учреждения — вот

¹¹⁶ См.: Кузнецова Н. И. Социальный эксперимент Петра I и формирование науки в России // Вопросы философии. 1989. № 3. С. 51.

¹¹⁷ Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 23–24.

далеко не полный перечень мер¹¹⁸, составляющих *третье направление рационализации* (и тем самым расчленения) нравственной целостности и однородности.

И все же, несмотря на непомерные усилия и разнообразные стимулы, на искусственный классовый разлом нравственного уклада, ни наука, ни образование не прижились на отечественной почве при жизни Петра. Да и в дальнейшем отмечался их периодический упадок — в 1740-х, 1780-х, в начале XIX века¹¹⁹. Дело, очевидно, в том, что традиционный российский этос оставался невосприимчив к рациональному знанию и тем самым не санкционировал его развитие. Как отмечал В. И. Вернадский, любая активизация научной работы в стенах Академии вплоть до середины XIX века «достигалась прежде всего тем, что в ее состав — подобно тому как это делалось и раньше — были привлечены видные ученые-иностранцы, главным образом немцы и швейцарцы»¹²⁰.

Не лучшим образом обстояло дело и с университетским образованием. В отличие от Европы, где университеты были достаточно отдаленными предвестниками нарождавшейся индустрии, первый российский университет стал детищем *Петровской индустриализации*. Но и здесь усилия по осуществлению «культурной прививки» не дали ожидаемых результатов. Академический Университет и открытая при нем гимназия посещались считанным числом студентов и учащихся, в основном детьми иностранцев¹²¹. Отсчет университетской эпохи в России принято вести со времени открытия в 1755 году по инициативе М. В. Ломоносова и по его проекту Московского университета. Но и тогда победной университетизации не состоялось. В отдельные годы занятия продолжались не более 30 дней, а число студентов доходило до трех(!) — по одному на факультет¹²².

¹¹⁸ Баггер Х. Реформы Петра Великого (обзор исследований). М., 1985.

¹¹⁹ Вернадский В. И. Труды по истории науки в России. М., 1988. С. 231–232.

¹²⁰ Там же. С. 242.

¹²¹ Филатов В. П. Образы науки в русской культуре // Вопросы философии. 1990. № 5. С. 37–39.

¹²² Там же.

И тем не менее внедрение произошло. И во многом не за счет массовости или же напористости каждодневных усилий, а благодаря отдельным людям — энтузиастам Российского Просвещения. Среди них, несомненно, выделяются два гиганта отечественной культуры — М. В. Ломоносов и А. С. Пушкин. Каждый из них личным примером и творческим вдохновением проделал работу почти геологического масштаба. И вряд ли стоило говорить об этом в нашей работе, если бы не их роль в трансформации отечественного этоса в некоторых его аспектах, не получивших пока должного освещения.

И Ломоносов, и Пушкин, по всей видимости, отдавали себе отчет в своем предназначении совершить тектонический сдвиг в культуре. Есть немало свидетельств того, что они видели в этом нравственный и патриотический долг. Они же стоят у истоков нового профессионального этоса. Государственная служба М. В. Ломоносова в качестве адъюнкта Академии стала одним из первых примеров освоения новой для России профессии. А. С. Пушкин, в свою очередь, был первым российским литератором, для которого литературный труд стал профессией, т. е. основным источником существования. Но есть еще одно направление трансформации этоса, которое объединяет их усилия.

Как известно, Пушкин назвал Ломоносова «первым нашим университетом»¹²³. Фраза, ставшая хрестоматийной, часто воспринимается как признание энциклопедической учености и просветительских заслуг Ломоносова. Между тем, как следует из текста пушкинских заметок¹²⁴, воздавая должное пионерной роли Ломоносова в проектировании и созидании университетской России, он достаточно критично относится к литературному творчеству и филологическим изысканиям великого предшественника. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на следующие обстоятельства.

¹²³ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. М., 1964. Т. 7. С. 277.

¹²⁴ Речь идет о работе, известной как «Путешествие из Москвы в Петербург», написанной под влиянием книги А. Н. Радищева. См.: там же. С. 276–287.

Идея общего и универсального образования возникла в Европе в период научной революции и по времени ненамного предвосхитила реформы в России. Она была стержневой в комплексе задач *великого восстановления*. Ф. Бэкон заявлял об этом достаточно ясно и определенно: «Ведь человечество направляет все свои силы на то, чтобы восстановить и вернуть себе то благословенное состояние, которого оно лишилось по своей вине. И против первого главного проклятия — бесплодия земли (“в поте лица своего будете добывать хлеб свой”) — оно вооружается всеми остальными науками. Против же второго проклятия — смешения языков — оно зовет на помощь грамматику»¹²⁵. «Эта стратегия борьбы со смешением языков, за восстановление потерянного в вавилонском столпотворении *языка Адама*, который... давал власть над природой через слово-знание»¹²⁶ была своевременно и органично воспринята Ломоносовым. В значительной степени благодаря ему русский язык стал языком науки и образования, языком научного дискурса. Эту титаническую работу он начал с изобретения (иначе не скажешь) русскоязычных научных терминов при переводе Вольфианской физики. Будучи поэтом в науке и ученым в поэзии, М. В. Ломоносов сумел силой своего поэтического дара сделать достоянием культуры, ее языка многое из того, что европейская наука шлифовала столетиями. Усилия по формированию русскоязычной научной терминологии предпринимались и до Ломоносова, но они носили в основном спорадический характер¹²⁷. Тем самым была создана почва для естественного воспроизводства науки в теле культуры в качестве особой духовной традиции¹²⁸. Прежде всего, конечно, науки

¹²⁵ Бэкон Ф. Сочинения. М., 1971. Т. 1. С. 333.

¹²⁶ Петров М. К. Культивирование или трансплантация науки: альтернатива перед развивающимися странами // *Философия и социология науки и техники*. Ежегодник 1988–1989. М., 1989. С. 41.

¹²⁷ Кутина Л. Л. Формирование языка русской науки. М.; Л., 1964; она же. Формирование терминологии физики в России. М.; Л., 1966.

¹²⁸ Если воспользоваться парафразом названия одной из современных работ по методологии науки (Крушанов А. А. *Язык науки в ситуациях предстандарта*. М., 1997), то можно сказать, что Ломоносов посредством фор-

чистой, фундаментальной. Экспериментальные исследования и наукоемкое производство, зачинателем которых также был Ломоносов, не получили в дальнейшем должного развития во всех своих ипостасях. Может быть, потому, что потребовали проникновения технологического мышления не только в язык привилегированных сословий, но и в контекст повседневной жизни. Ломоносов же осуществил эту задачу системно, т. е. как научную программу.

Можно сказать, что А. С. Пушкин взялся за доделывание этой работы, подготовив язык к восприятию достижений мировой культуры и цивилизации. «...Ему одному пришлось исполнить две работы, в других странах разделенных целым столетием и более, а именно: установить язык и создать литературу»¹²⁹. При этом справедливо замечено, что «обработка языка никогда не являлась для Пушкина автономной областью поисков, а всегда связывалась с потребностями литературы и даже более — национальной русской культуры во всей ее широте»¹³⁰. Впрочем, анализ пушкинских текстов под углом зрения технологизации отечественного этоса — область исследований, не столько привлекающая, сколько пугающая своей необычностью и новизной. Несомненно другое — принятие непривычной технологии было подготовлено не одними лишь усилиями деятелей естествознания, техники и промышленности, но и в лаборатории художественного поиска, в «школе поэтического слова». Оно нуждалось в нравственном и художественном санкционировании и получило его. Понимание сути этого санкционирования, пожалуй, лучше

мирования языка науки заложил этот стандарт. В дальнейшем «ситуации предстандарта» повторялись, но не только как естественные изменения динамики научного знания, но и как обстоятельства очередного внедрения. С этой точки зрения для понимания индустриального внедрения-освоения интересны исследования становления науки «на пустом месте» (см., например: Стройк Д. Дж. Становление науки в США. М., 1966; а также уже упоминавшуюся работу М. Лернера «Развитие цивилизации в Америке»).

¹²⁹ Тургенев И. С. Сочинения: в 12 т. М., 1986. Т. 12. С. 344.

¹³⁰ Томашевский Б. В. Пушкин. Исследования и материалы: в 2 кн. М.; Л., 1956. Кн. 1. С. 126.

всего выражено Л. Н. Толстым, утверждавшим, что «...цемент, который связывает каждое художественное произведение и оттого производит иллюзию отражения жизни, есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету...»¹³¹.

Правда, процесс, о котором идет речь, еще долго не давал ожидаемых каждодневных результатов: российская наука длительное время оставалась университетской, все дальше уходила от индустрии, которой была обязана своим рождением, приобретая порой черты искусства и нравственного служения. Характерное для последующего развития науки соединение с инженерной мыслью касалось в основном конструктивного начала и в значительно меньшей степени проникало в индустриальную технологию. Индустрия требовала другого: массового соединения технических достижений с обученным и дисциплинированным персоналом. Внедрение же индустриальной организации по образу и подобию стран Западной Европы вызвало целый клубок болевых проблем, с которыми столкнулась отечественная культура в послепетровский период.

§3. Техника и технология

Еще при жизни Петра результатом освоения технических новшеств стал уникальный не только для России, но и по европейским меркам всплеск изобретательской активности. Достаточно вспомнить оригинальные по кинематической схеме токарные станки, предложенные А. К. Нартовым, или же опередившие техническую мысль Запада изобретения И. П. Кулибина и И. И. Ползунова. Но, как известно, эти достижения не были по-настоящему востребованы на родине. Сами изобретатели были до поры, до времени одиночками и не составляли достаточно прочной среды, а результаты их усилий требовали технологического воплощения, почва для которого еще долго оставалась неподготовленной.

¹³¹ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.; Л., 1954. Т. 30. С. 18.

Гораздо сильнее проявлялась реакция отторжения технических и особенно технологических новаций. Потрясение, испытанное культурой в результате их насильственного внедрения, было столь велико, что породило целый комплекс мистико-апокалипсических настроений, когда, по свидетельству А. П. Щапова, «живые люди ложились в гробы и со дня на день ожидали конца мира»¹³². С тех пор апокалипсическая тенденция как отклик самобытной культурной традиции на вхождение чуждого ей технического мира, пожалуй, никогда не прерывалась. Просто время от времени она заслонялась или теснилась восторгом и благоговением части просвещенной публики перед мерной поступью очередного индустриального гиганта.

Следует отметить, что апокалипсический мотив — хотя подчас и в своеобразной форме — время от времени проникает в гуманитарную рефлексию по поводу технических проблем¹³³.

Впрочем, ни восторг, ни апокалипсические мотивы практически не затронули русскую художественную литературу данного периода. Тема индустрии была ею попросту не замечена. Как-то Д. Гранин сказал по этому поводу, что железная дорога пришла в Россию еще при жизни Пушкина, но Пушкин писал о станционном смотрителе. Во времена Ф. М. Достоевского в Петербурге уже был электрический свет, но туда, где живут его герои, этот свет не проникает. В отличие от еще недавно популярных авторов «производственных» романов, представители золотого века русской литературы решали другие творческие задачи.

Врасшифровке тайны апокалипсиса многое сделала русская философская мысль на рубеже веков. В. С. Соловьев, П. А. Флоренский, Н. О. Лосский и другие мыслители способствовали тому, что сокровенный религиозный смысл апокалипсиса стал предметом всестороннего философского осмысления, более прочными узами связался с мировоззрением конкретной эпохи. Н. А. Бердяев был, пожалуй, одним из первых, кто обратил

¹³² Щапов А. П. Сочинения: в 3 т. СПб., 1906. Т. 1. С. 115.

¹³³ Дахин А. В., Щуров В. А. Апокалипсис технического объекта. Н.-Новгород, 1992.

внимание на онтологический статус *формального мира* — машинной техники в ее взаимосвязи с технологией и организацией — и продемонстрировал мысленный эксперимент, своего рода апокалипсический сценарий индустриального развития. Размышляя о месте техники в судьбе человека и судьбе культуры, он соотносит технический мир с формальной организацией и противопоставляет его организму. Опыт русской культуры в ее естественном развитии видится ему как преимущественно органический, а присущий культуре романтизм есть, по словам Бердяева, «реакция природно-органического элемента культуры против технического ее элемента»¹³⁴.

Следует отметить, что подобное видение, характерное для многих работ Бердяева, имеет большое эвристическое значение. В частности, романтизм как инвариант культуры, а не только как защитная реакция, может стать одним из объяснительных элементов взаимодействия техники и российской национально-культурной традиции.

Итак, *апокалипсис* и *романтизм*. Что же роднит их? Только ли чуждая, имплантированная извне онтология технотронного мира? Рискнем предположить, что объединяющее начало следует искать не в мировоззренческих высотах духа, а в особого рода «органической технике» — воспроизводящейся в культуре склонности и способности к постоянному усовершенствованию предметного пространства жизни. Эмпирическое раскрытие данного феномена, отлитого в формулу «голь на выдумки хитра», произошло уже во второй половине XX столетия. Оно было зафиксировано в массовом сознании под общим названием *маленькие хитрости*¹³⁵. По всей видимости, мы имеем дело с уникальным технокультурным комплексом — инвариантом культурной динамики, способы укоренения и механизмы воспроизводства которого практически не исследованы.

¹³⁴ Бердяев Н. А. Человек и машина // Вопросы философии. 1989. № 2. С. 146.

¹³⁵ Так называется популярная рубрика «домашних изобретений» на страницах журнала «Наука и жизнь».

Рассмотренные инварианты культуры в полную силу заявили о себе в XIX веке, когда «Россия, перекрестившись, пустилась в плавание по океану научно организованных технологий»¹³⁶. В условиях противостояния индустриального пафоса и оформившейся в эту пору духовной оппозиции возникает ситуация, амбивалентно включающая веру в могущество техники и антитехнизм. Данную ситуацию отличает системно-конструктивное, целостное, органичное, эстетически окрашенное (но не технологизированное) сознание. В таком духовном контексте и возникает умонастроение, получившее через столетие название *русский космизм*¹³⁷. Данное умонастроение не было ни научной школой, ни философским направлением в обычном смысле. Но именно в нем было преодолено пассивное понимание апокалипсиса, характерное для предшествующего периода русской истории. В предельно обостренной форме это выразилось в учении одного из наиболее ярких космистов — Н. Ф. Федорова, предложившего свою программу спасения. Она, как известно, состояла не в отказе от техники, а в замене бездушной организации техницизма органикой *общего дела*¹³⁸.

Избирательность и последовательность такого *протеста-освоения* подтверждает оправданность специфического видения организации как вполне автономной формы сцепления социально-трудовых функций человека и элементов техники и технологии в целостный технокультурный комплекс. На этом основании можно сделать вывод, что индустриальное насилие стало для России таковым не столько в силу чуждости для нее техники и технологии самих по себе, сколько потому, что внедрялись они в оболочке технотруктуры формально организованного общества. Разрушение традиционного жизненного уклада, символом которого была община, привело к искусственному распаду форм жизни, а в итоге — к романтически (а порой и трагически) окрашенной организационной утопии.

¹³⁶ Гиренко Ф. И. Русские космисты. М., 1990. С. 5.

¹³⁷ Гаврюшин Н. К. Из истории русского космизма // Труды пятых и шестых чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К. Э. Циолковского. М., 1972.

¹³⁸ Федоров Н. Ф. Сочинения. М., 1982.

Вполне возможно, что подобное утопическое сознание в определенной мере предвосхитило коммунистическую и космическую утопии, подчас не разделяя их. Оно стало своеобразным заповем, а зачастую и нравственным оправданием последующих индустриализаций и коллективизаций, освоения целинных и залежных земель, осуществления космической программы. Его можно рассматривать как своеобразное асимметричное отражение и частичное освоение отечественной культурой индустриального этоса. В этом же ключе мы предполагаем трактовать недавнюю историю массивов индустриального наступления на северные сибирские регионы.

§4. Колонизация

И все же одним лишь внешним индустриальным вторжением этот утопический порыв не объяснить. Нельзя не учитывать фактор колонизации, который был определяющим задолго до первой российской индустриализации, а затем в какой-то степени трансформировался в период индустриального развития. Расширение пространства страны за счет внешних владений, при том, что оно на первых порах зачастую было насильственным, рассматривалось прежде всего как простираение, а затем уж как присвоение и освоение.

Следует отметить, что тема освоения в качестве проекции колонизации стала активно обсуждаться на страницах печати в период регионализации страны. Злободневность сделала свое дело, поэтому нет недостатка в смелых историсофских построениях. Упомянувшийся ранее тезис Ключевского о колонизационном факторе русской истории, о ее географической сущности играет здесь не последнюю роль. Но он, по крайней мере, вносит хоть какое-то упорядочивающее начало во множество географически ориентированных концепций, пришедших на смену марксистской доктрине о закономерности исторического процесса и его движущих силах.

Как известно, В. О. Ключевский не был первым, кто сформировал свой взгляд на отечественную историю подобным образом.

Его предшественником был С. М. Соловьев, утверждавший: «В русской истории мы замечаем то главное явление, что государство при расширении своих владений занимает обширные пустые пространства и населяет их, государственная область расширяется преимущественно посредством колонизации»¹³⁹. Но и Соловьев не был первооткрывателем подобного взгляда — он развил мысль своего учителя М. П. Погодина о «бродяжничестве» населения Древней Руси¹⁴⁰. Нечто подобное нетрудно обнаружить и в размышлениях П. Я. Чаадаева, утверждавшего, что «есть один факт, который властно господствует над всем нашим историческим движением, который красной нитью проходит через всю нашу историю, который содержит в себе, так сказать, всю ее философию... это — факт географический»¹⁴¹.

Впрочем, истоки такого видения проявились намного раньше, поскольку еще до того, как стать достоянием общественной мысли, отразились в фольклоре и прочно закрепились в языке. Так, уже упоминавшийся нами русский историк XIX века А. П. Щапов обращал внимание на обилие в русском языке антропоморфных слов, связанных с духовно-практическим опытом народа. Одним из самых показательных он считал слово *вселенная*, из которого, как ни смотри, выглядывают «уши» русского мужика, занятого привычным делом — вселением в новый дом¹⁴². Вселенная для него — не какой-то там абстрактный *космос*, даже не *ойкумена* (хотя *вселенная* считается калькой этого слова), но *мир* (община), *дом*, куда предстоит вселиться всем *миром*.

Может быть, в такой привычности и проявляется еще один инвариант культурной динамики — экстенсивное стремление к вселению. Особого внимания в связи с этим заслуживает жанр русского утопического романа в форме путешествия с плавным переходом от земных реалий к космическим. Близкие мотивы про-

¹³⁹ Соловьев С. М. Избр. труды. М., 1983. С. 28.

¹⁴⁰ Подробнее об этом см.: Цимбаев Н. И. Историческая философия на развалинах империи. М.: Изд. дом Международного ун-та, 2007. С. 9–46.

¹⁴¹ Чаадаев П. Я. Апология сумасшедшего // Сочинения. М., 1989. С. 161.

¹⁴² Щапов А. П. Сочинения. СПб., 1906. Т. 1. С. 74.

слеживаются в произведениях русских мыслителей-космистов. Н. Ф. Федоров в своем космическом проекте преобразования мира на началах общего дела говорит об этом достаточно определенно: «Ширь русской земли способствует образованию подобных характеров (Федоров имеет в виду наиболее активную и мобильную часть населения: богатырей, землепроходцев, казачество и т. д. — М. Г.); наш простор служит переходом к простору небесного пространства, этого нового поприща для великого подвига»¹⁴³.

Некоторые исследователи видят общие истоки русского странничества и русского космизма в мифологическом сознании, в странной смеси христианских представлений и языческих верований, т. е. в том, что исследователь фольклора А. П. Афанасьев называл «Поэтическим воззрением славян на природу»¹⁴⁴.

Еще одна колонизационная схема не только продолжает привлекать внимание исследователей, но и время от времени становится предметом научной полемики¹⁴⁵. Обращение отечественных авторов, в первую очередь сибирских историков, к сопоставлению американского фронта и колонизации Сибири¹⁴⁶ началось задолго до перевода книги Ф. Дж. Тёрнера на русский язык¹⁴⁷. Оно оказалось довольно продуктивным. Хотя, возможно, первоначальным импульсом стало само слово *фронтир*, не отягощенное (в явном виде) такими негативными ассоциациями и коннотациями, как слова *колонизация* и *колониализм*. Однако различие между российской колонизацией и американским фронтиром весьма существенное — как формальное, так и содержательное.

¹⁴³ Федоров Н. Ф. Сочинения. М., 1982. С. 358.

¹⁴⁴ Гиренок Ф. И. Русские космисты. М., 1990. С. 11.

¹⁴⁵ Бостан К. А., Кузнецов А. М. Идея «фронтира»: выгодное приобретение или опасный «фантом»? // Ойкумена: Регионоведческие исследования. 2018. № 1. С. 73–84.

¹⁴⁶ Резун Д. Я., Ламин В. А., Мамсик Т. С., Шиловский М. В. Фронтир в истории Сибири и Северной Америки в XVII–XX вв.: общее и особенное. Новосибирск: Изд-во ИДМИ, 2001. 113 с.

¹⁴⁷ Тёрнер Ф. Дж. Фронтир в американской истории. М.: Весь Мир, 2009. 304 с.

Фронтир — это линия фронта, противостояния. Но чтобы смягчить прямой перевод, предпочитают другие варианты: порубежье, граница между освоенными и неосвоенными землями, подвижная граница и т. п. Под воздействием книги Тёрнера в США постепенно создавалась легенда об истинно американском духе — Духе Фронтира, о людях Фронтира — мужественных, честных, простых и работающих. О тех, кто всегда был вооружен, поскольку должен дать отпор каждому, кто посягал на его жилище, на жизнь его близких.

Между тем, неявным синонимом фронта является геноцид — не особо артикулируемое в литературе, замалчиваемое в легенде, но реальное уничтожение не только сокровищ индейской цивилизации, но и самих краснокожих «варваров», в том числе женщин и детей. Поэтому чем дальше отходило американское общество от романтического Духа Фронтира, тем больше он превращался в идеологему, впечатывался в сознание американцев в качестве национального символа.

Авторы явно или неявно заняты поисками содержательной типологии сибирского фронта, словно не замечая, что отличие российской колонизации от американского фронта не столько типологическое, сколько топологическое. Освоение Сибири было не фронтальным, а маршрутным. Первые водно-сухопутные пути (волоки) через Уральские горы, бравшие свое начало в бассейнах рек Северной Двины и Печоры, в летописных источниках упоминаются с XI века. Основное назначение подобных маршрутов сводилось к осуществлению торговли жителями Великого Новгорода, а позднее Москвы с Югрой — хантыйскими и мансийскими землями, расположенными к востоку от Урала в нижнем течении Оби. Несмотря на то, что к середине XV века коренными жителями этих территорий формально была признана власть царя Ивана III, на протяжении долгого времени подобные маршруты предназначались лишь для ведения торговли и обложения данью местных народов, по сути дела, не преследуя задач колонизации.

Поэтому первым линейным маршрутом целенаправленного освоения территории Сибири русскими можно считать Бабиновскую дорогу, построенную вскоре после похода дружины Ермака. В этот период наличие надежных сухопутных путей стало одним из необходимых условий для закрепления за Русью сибирских земель. Признанный к тому времени официальным

Вишеро-Лозьвинский волок оказался не в состоянии справиться со все возрастающим потоком людей и грузов. Начинаясь в центре Перми Великой Чердыни, он проходил по реке Вишере и ее притоку Велсу. Затем путники вынуждены были оставлять свои суда, пешим или конным ходом преодолевая Уральские горы. Следующий водный участок пути шел по реке Лозьве. Он достигал Лозьвинского городка, выполнявшего в ту пору роль своеобразного перевалочного пункта, далее направляясь вглубь Сибири по рекам Тавде, Туре, Тоболу, Иртышу и Оби...

К сожалению, и в настоящее время маршрутная схема в принципиальном отношении почти не изменилась. Транссибирская железнодорожная магистраль и по сей день остается единственным сквозным маршрутом, соединяющим столицу с восточносибирскими и дальневосточными регионами.

Таким образом, тезис о географичности, об истории как смене мест можно рассматривать как своеобразную синтагму отечественной культуры, проявляющуюся в парадигмах крупных колонизаций-освоений (в этом смысле — и в освоении космического пространства) и даже в торговле пространством в обмен на деньги и время (достаточно вспомнить судьбу Аляски или Брестского мира).

Что касается последнего вывода, то в советское время он косвенным образом получил научное обоснование в концепции видного географа Н. Н. Баранского о географическом разделении труда. Исследуя причины, влияющие на территориальные различия в производительности труда, Баранский высказал новаторскую для своего времени мысль: географическое разделение труда в виде общего правила повышает его производительность несколько не хуже, чем развитие техники. Под географическим разделением труда он понимал такие пространственные предпосылки его организации, при которых бы «разные страны (или районы) работали друг для друга, чтобы результат труда перевозился из одного места в другое, чтобы был, таким образом, разрыв между местом производства и местом потребления»¹⁴⁸.

¹⁴⁸ Баранский Н. Н. Методика преподавания экономической географии. М., 1990.

При всей своей очевидности данная позиция была отступлением от того понимания разделения труда, которое через марксизм пришло из западной социологии и было догматизировано официальным общественным мнением. Но неоднородность условий для развития и размещения производительных сил во время каждой из индустриализаций была столь осязаема, что с этим пришлось считаться во всех глобальных планах, поскольку задача экономико-географического районирования всегда стояла в них в качестве первоочередной. Причем слово *экономика* применимо здесь как синоним хозяйства, а не в значении экономических отношений, подразумевающих товарный обмен. Видимо, поэтому Баранский считал нужным подчеркнуть, что товарный обмен является «лишь признаком для опознания наличия географического разделения труда, а не его сутью»¹⁴⁹, оставляя тем самым возможность говорить и о нетоварном обмене пространств.

Может показаться, что затронутые вопросы далеки от заявленной темы. Это не так. «Силовые линии» культуры, которые определяют поведение людей, придавая осмысленность их поступкам, складываются под воздействием многих факторов. Для отечественной культуры индустриальный импульс, как бы к нему не относиться, был, несомненно, решающим, определившим ее дальнейшую трансформацию. При исследовании данной культурной трансформации предметом рассмотрения, как правило, становилось внедрение индустрии в социальное пространство и лишь затем — в географическое. Это оправдано для сложившегося уклада жизни, для обжитых районов, и, прежде всего, для фабрично-заводской индустрии, где главным является процесс (время), а не место. Даже возведение в относительно короткие сроки промышленных объектов на востоке страны в 1930-е годы, даже развертывание эвакуированных производств во время войны не могут быть в полной мере отнесены к категории *новое освоение*. В первом случае это была в основном «точечная» индустриализация методами народной стройки с преобладанием неквалифициро-

¹⁴⁹ Баранский Н. Н. Методика преподавания экономической географии. М., 1990.

ванного труда. Для этих целей соответствующим образом готовился «строительный материал» — огромные массы людей, сорванные с земли, приведенные в «атомарное» состояние. Во втором — происходило усиление уже сформировавшихся промышленных центров в Поволжье, на Урале, в Сибири. Не было в полной мере индустриальным и освоение целинных и залежных земель¹⁵⁰.

Уникальность индустриального освоения северных сибирских регионов, и в особенности Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, в том, что здесь произошло непосредственное внедрение индустрии в географическую среду, а затем индустриальными методами послойно создавалось социальное пространство. Может быть, именно эта непосредственность предопределила ненасильственный характер освоения.

§5. Север

Картина освоения этоса будет не полной, если не остановиться еще на одном моменте. Речь пойдет о четко выраженной меридиональной доминанте освоения. Дихотомию *Запад–Восток* можно рассматривать как обобщение этого географически ориентированного членения культур. В современном социальном пространстве она намечает линию перехода от противоречивого и болезненного освоения индустриального этоса к активным формам этоса нового освоения. Понятно, что здесь не обойтись без «северного взгляда» на проблему. В период индустриального наступления на приполярные территории резкость такого видения усиливается благодаря экологической артикуляции возможных глобальных последствий.

Мы уже говорили, что глобальные проблемы, с которыми столкнулось человечество на исходе тысячелетия, словно фокусируются в тех точках планеты, где баланс между человечеством и природой очень хрупок и легко нарушается изменением содержания и масштабов человеческой деятельности. И Север-

¹⁵⁰ Ю. Н. Тундыков высказал интересную мысль, что это освоение вынесли на своих плечах не целинники-горожане, а выходцы из деревни, которые еще не успели укорениться в городской жизни.

ный полюс с прилегающими к нему территориями, безусловно, является одним из таких мест¹⁵¹. Подчеркнем еще раз и то, что Север перестает быть чисто географическим понятием¹⁵², он превращается в полюс культуры, символизирующий трагическую направленность индустриального развития.

Между тем, существует еще один взгляд под «северным углом зрения», сформировавшийся в русле отечественной культуры задолго до обострения экологического синдрома, но имеющий, по сути дела, те же протоиндустриальные предпосылки. Если попытаться проследить эволюцию образа Севера поверхностным взглядом, память услужливо подскажет знакомые с детства строчки о том, что «вреден север для меня», или же о тучках, что мчатся «будто изгнанники с милого севера в сторону южную». А если напрячь память, то можно обнаружить контрастирующее с ними восприятие Севера как края, «где в искаженных чертах природы прочитывается ужас и земля превращается в оледенелый труп»¹⁵³. И такая контрастность оценок не случайна. Она — порождение духовной атмосферы послепетровских времен, когда вопрос о переименовании России в «Российские Европии» стал не только плодом художественной фантазии¹⁵⁴, но и был высочайше утвержден в знаменитом наказе Екатерины Второй, повелевавшей: «Россия есть держава европейская»¹⁵⁵. Понятна и та духовная оппозиция, которая за этим последовала. Именно в данный период, т. е. еще до того, как контуры славянофильства проявились в комплексе идей, волновавших русское мыс-

¹⁵¹ См.: Агранат Г. А., Котляков В. М. Север — зеркало мировых и российских проблем // США. ЭПИ. 2006. № 12. С. 6–19.

¹⁵² Об этом, в частности, говорит полемика по поводу дефиниций понятия *Север* и делимитации арктического региона. См.: Агранат Г. А. Возможности и реальности освоения Севера: Глобальные уроки // Итоги науки и техники. Сер. Теоретические и общие вопросы географии. 2002. № 10.

¹⁵³ Гоголь Н. В. Мысли о географии // Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 7 т. М., 1967. Т. 6. С. 120.

¹⁵⁴ История о российском матросе Василии Кориотском. Русские повести первой трети XVIII века. М.; Л., 1965. С. 191.

¹⁵⁵ Наказ Ея Императорскаго Величества Екатерины Вторыя самодержицы всероссийския... СПб., 1776. С. 4.

лящее общество, культурное самосознание определило судьбу России в антитезе как Западу, так и Востоку. Рождалась новая (третья) типологическая модель. «Россия получила в этой типологии наименование Севера и сложно соотносилась с двумя первыми культурными типами, с одной стороны, противостоя им обоим, а с другой — выступая как Запад для Востока и Восток для Запада»¹⁵⁶. Таким образом, тема Севера приобрела для отечественной культуры совершенно особое звучание: в ней причудливо соединились культурная самобытность (через самоопределение в типологическом пространстве) и традиционная мессианская функция, которой не раз еще было дано проявиться в дальнейшем.

Совершенно особый дух и особые образы принесли в копилку культуры крупные географические открытия в полярных широтах. Пафос покорения, романтика экстремальности — характерные черты духовной ситуации данного периода. С ними тесно переплетались жажда первенства на пути к открытию Северного полюса, обстановка состязательности и соперничества. Особо необходимо сказать о нравственном аспекте описываемой ситуации. Обостренную нравственную значимость приобретали практически все моменты подготовки экспедиций, жизнеобеспечения, поведения человека в экстремальных условиях, взаимодействия с аборигенами. Они органично дополнялись специфическими аспектами научной этики, регламентирующей как само экспедиционное исследование, так и его отражение в научной среде и общественном мнении. Север не только обнажал ценностные коллизии, сформировавшейся на Большой земле, не только продуцировал новые, но и утверждал неповторимую атмосферу взаимодействия и сотрудничества, ответственной зависимости.

В дальнейшем, когда у этих вопросов появился явный геополитический акцент, произошла определенная перегруппировка ценностей и норм, регулирующих особенности полярного освое-

¹⁵⁶ Лотман Ю. М. В школе поэтического слова. М., 1988. С. 220. В дальнейшем Ю. М. Лотман развил эту тему в статье «Современность между Востоком и Западом» (Знамя. 1997. № 9. С. 157–162).

ния, стала существенным образом меняться их артикуляция. Но формирующийся культурный образ Севера уже достаточно прочно впитал черты духовной ситуации покорения.

Конечно, впоследствии планка романтической приподнятости и героики, установленная первой генерацией покорителей, была снижена, однако в последнее время в США и Канаде появились публикации, свидетельствующие о своеобразном ренессансе в культивировании «арктического величия». Их авторы видят в Севере источник благородства и возрождения подлинно человеческих ценностей. Попытки реабилитации северных идеалов заметны и во многих публикациях отечественных авторов. Черты мужественного, сурового и благородного Севера остаются привлекательными, несмотря на кардинальную смену многих ценностных ориентиров¹⁵⁷.

Кристаллизации образа Севера в культуре способствует и экологическая проблематика. Несмотря на предрекаемую угрозу экологической катастрофы, массовое сознание жителей большинства регионов, похоже, все еще невосприимчиво к мрачным прогнозам. Но когда речь идет о Севере, то острота экологических проблем становится очевидной и на обыденном уровне. Тем самым на смену элитарному арктическому единению культур периода открытия Северного полюса приходит их массовое сотрудничество во имя совместного выживания.

Таким образом, этический аспект северного освоения — это не столько этика полюса, сколько полюс целого ряда этических проблем, доведенных до предельного, символического состояния. В этом ряду находятся и обсуждаемые нами вопросы. Поэтому реконструкция этических парадигм освоения приполярных территорий возможна путем дешифровки данной символики и наполнения ее конкретным содержанием. Здесь мы имеем в виду не логический прием доведения до абсурда, не условность координатной сетки, а свернутый смысл деятельности людей, выступающих явными и неявными агентами движения цивилизации к своему полюсу.

¹⁵⁷ Карпов В. П. Анатомия подвига. Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. 184 с.

Глава 5

| РЕГИОН |

Новое промышленное освоение практически безлюдных просторов сибирского севера коренным образом изменило ландшафт этих мест, надстроив над географическим пространством пространство индустриальное. Теперь о регионе уже невозможно говорить как о синониме территории или же как о чисто умственном конструкте. Индустриальная программа произвела снятие смысловой многозначности понятия: 1) регион как «естественно-искусственное образование — территория, экономические связи, тяготения и т. д.»; 2) как система сред — географическая, экономическая, экологическая. В свое время северные сибирские регионы стали рассматривать как субъекты региональной политики. Политический лексикон делает свое дело, подменяя смыслы, интерпретируя место жизни и деятельности людей прежде всего как поле столкновения политических интересов. И на фоне накала политических страстей банальной кажется мысль, что регион и в нынешнем своем облике — это не только политико-административная единица, не только производственные мощности, не только нефть и газ, но прежде всего люди, которые заселили эту землю, обжили ее, освоили эти мощности и самое главное — видят (до поры до времени?) смысл в том, как они живут и что делают. То есть чувствуют себя на этой земле, в этом индустриальном пространстве на своем месте. Правда, некогда общий для большинства вчерашних мигрантов вектор интереса *Человек–Место* действительно распадается на множество векторов различной направленности, аккумулирую-

щих человеческий смысл и человеческий опыт индустриального освоения территории. Составляют ли данные векторы единое поле (ибо без такого единства рассуждения об экономике, политике, о регионе — как о некой целостности — будут лишены оснований)? Ответ на этот вопрос мы попытаемся дать, рассматривая регион в его движении от территории к общности, т. е. в контексте эволюции регионального этоса.

§1. Территория

Намечая контуры проблемы территориальной организации применительно к освоению Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, мы упомянули ряд уникальных совпадений как исторического, так и географического характера. Тюменская область, как известно, была образована в результате очередной административной «перекройки», завершившей «двадцатилетний период непрерывных изменений административно-территориальных границ в этой части Западной Сибири»¹⁵⁸. Напомним, что большая часть ее была выделена из состава Омской области, а четыре южных района ранее входили в состав Курганской области. По территории новая область оказалась самой большой в стране, но в экономическом и социальном отношении явно уступала своим соседям. В основном это была неудобь, казавшаяся непригодной для жизни и хозяйственной деятельности. Территория, географическое пространство — вот основное богатство области и предмет ее гордости в ту пору.

Ликвидация Тюменской губернии в начале 1920-х годов и возврат к Тюменской области уже в новой конфигурации осуществлялись в основном по политическим мотивам¹⁵⁹, с молчаливого согласия географической науки. Непосредственная этическая интерпретация подобных административно-территориальных шарашаний вряд ли возможна, но ее организационная подоплека почти очевидна. Речь может идти о конфликте между орг-

¹⁵⁸ Очерки истории Тюменской области. Тюмень, 2004. С. 198.

¹⁵⁹ Там же.

структурами различной топологии: властной и поселенческой. Конфликт этот имеет давнюю традицию. В его основе лежит тот самый колониционный фактор русской истории в сочетании с централизованной самодержавной властью. «Наша история, — писал по этому поводу П. Н. Миллюков, — не выработала никаких прочных связей, никакой местной организации. Немедленно по присоединению к Москве присоединенные области распались на атомы, из которых правительство могло лепить какие угодно тела»¹⁶⁰. Послереволюционная история страны только трансформировала эту тенденцию. В условиях единства собственности и власти она приобрела форму конфликта ведомственности и местничества. Центр в качестве арбитра маневрировал между указанными позициями.

Что же до населения Тюменской области, то основная его часть в ту пору вряд ли задумывалась об этом конфликте, тем более не осознавала себя *субъектом региональной политики*, а могла, пожалуй, сказать словами П. Я. Чаадаева: «мы лишь геологический продукт обширных пространств, куда забросила нас неведомая центробежная сила, лишь любопытная страница физической географии»¹⁶¹.

Эти слова справедливы хотя бы потому, что именно геологам принадлежит честь открытия области в ее новом качестве. Так уж распорядились природа и административная практика, что Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция почти полностью уместилась в границах Тюменской области. Реализуя схемы поиска и разведки углеводородного сырья, геологи разметили территорию и подготовили ее к дальнейшему послойному освоению¹⁶². Но они произвели еще одну «разметку».

¹⁶⁰ Цит. по: Освобождение духа. М., 1991. С. 139.

¹⁶¹ Чаадаев П. Я. Отрывки и разные мысли // Полн. собр. соч. и избр. письма: в 2 т. М., 1991. Т. 1. С. 480.

¹⁶² Рассматривая послойное освоение Тюменской области, мы имеем в виду слои последовательно возведенных индустриальных подпространств, а не концепцию «последовательного наложения слоев» (первичная, затем вторичная и т. д. деятельность) А. Вебера. Хотя, конечно, определенная аналогия здесь имеется.

Геологические партии, экспедиции — это одновременно и производственные коллективы, и «кочевые» поселенческие микробообщности, а сами геологи в силу особенностей своей профессии — наиболее яркие представители безместного утопического сознания. Они не только задали региону первоначальный палаточный стандарт, окрашенный романтикой неустроенности, но и на старте процесса освоения предопределили субординацию организационных структур — подчинили структуру расселения задачам производства. Затем эту эстафету подхватили строители, для которых безместность собственной жизни подчинена новоместности Великой стройки. Нефтяники, газодобытчики в профессиональном отношении ориентированы на менее мобильную организацию, но и они стали следовать заданному стандарту. Таким образом, в основу жизни людей закладывались, с одной стороны, геологическая разметка территории в сочетании со схемой административного подчинения ее фрагментов, а с другой — динамичные индустриальные ритмы жизнедеятельности, которые требовали адекватных способов и структур расселения. В итоге образовалась организационно-технологическая матрица будущего региона. Она и стала первичной формой сцепления популяции.

§2. Организация

Организационный комплекс, который превратил территорию в регион, можно было бы назвать территориально-индустриальным. Это сочетание целого ряда организационных структур различного уровня сложности. Главным в указанном комплексе было то, что в производственно-технологическом и территориальном отношении он представлял собой единое целое, а оргструктуры властного типа были в нем более дробными и обособленными. Это было обусловлено целым рядом факторов: преобладание добывающей промышленности, ее привязка к конкретному месту, утилитарное отношение к ландшафту, проявившееся в тотальности объекта деятельности, многослойный индустриальный характер нефтегазового комплекса, прописанного

в геолого-географических координатах единого объекта, особая практика проектирования и сооружения нефтегазопромысловых предприятий и др.

Но тотальность технологии не сразу стала «работать» на единство популяции. Технологические цепочки производства и соответствующие им способы организации людей, вовлеченных в трудовой процесс (эскизно спроектированные на Большой земле), распространялись и на остальные сферы их жизнедеятельности. По образу и подобию производственных технологий создается система отбора и первоначальной адаптации мигрантов. Постепенная замена формальных (техничных) уз сцепления живыми человеческими связями вначале происходит по месту работы, в трудовом коллективе и в значительно меньшей степени — по месту жительства. Да и место жительства — это вначале ведомственный поселок со спроецированной на него производственной иерархией.

Система, названная впоследствии административно-командной, повсеместно превратила трудовые коллективы и их организации в основные ячейки собственного воспроизводства. Но в обжитых районах доминирование производственного принципа отчасти нейтрализовалось развитой инфраструктурой, имеющей поселенческую топологию. Понятно, что в регионах, подобных Тюменской области, все происходило иначе. Монофакторная, а затем и корпоративно-ячеистая структура закладывались в формы расселения изначально, на первом этапе освоения. Такая практика вряд ли была способна сформировать не то что общность, но даже целостную региональную популяцию. Радиальная привязка к инстанциям управления только усиливала разобщенность отдельных (ведомственных) фрагментов территории. Если и происходили в этих условиях общностные процессы, то лишь на уровне коллективов предприятий: иногда, почти *по Гумилеву*, т. е. на основе крепкого профессионального ядра, прибывшего с Большой земли, или землячества, а то и родственных связей; иногда, почти *по Веберу*, т. е., когда такое ядро возникало вокруг руководителя, обладающего магнетическим воздействием, умеющего сплотить и вдохновить подчиненных, заражающего

энтузиазмом и убеждающего личным примером. Последующая эволюция названных коллективов выдвигала нормы делового и внеделового взаимодействия, чем-то напоминающие *доктрину человеческих отношений*. А фирменно-отраслевой принцип распределения большинства социальных благ удерживал коллектив от других вариантов трансформации. Конечно, о полном его превращении в «общину» говорить не приходилось. Однако даже если гипотетически принять этот вариант развития, то он не стимулирует общностные процессы, скорее, наоборот — автономизация локальных коллективов препятствует формированию региональной общности. Тогда возникает вопрос: как возможна в этих условиях общностная интеграция? Постараемся ответить на него хотя бы в первом приближении.

Период нового промышленного освоения 1960-х годов был переходным с точки зрения роли властного типа организации. Его явное доминирование над производственной оргструктурой было в прошлом, а технологизация и децентрализация процесса еще не состоялись. Здесь необходимо небольшое пояснение. Из Великой Отечественной войны страна вышла, вооруженная совершенно новым организационным опытом. Он укрепился в период послевоенного восстановления хозяйства и в какой-то степени предопределил последующую децентрализацию административно-территориального и экономического управления (в 1957 году были существенно расширены права местных органов власти, а затем образованы совнархозы). И если в ряде экономических районов этот процесс тормозился из-за неразвитости периферийной (местной) организации производства, то в сибирских регионах все разворачивалось по иной схеме. Когда спустя несколько лет было восстановлено централизованное отраслевое управление, удельный вес периферийных производств в составе каждой из представленных здесь отраслей был настолько велик, что их формальная значимость сразу же приобрела союзный ранг и была близка к статусу экстерриториальности. В этом была опасность для центральных органов отрасли и, конечно же, для параллельной системы административно-территориального деления и под-

чинения. Итогом их давнего соперничества стал компромиссный вариант: создание территориально-отраслевых управленческих структур при относительной сбалансированности тенденций ведомственности и местничества в их региональном проявлении. На уровне конечных звеньев отраслевых систем также стали возникать концентрические связи. При общей ориентации на постоянное заселение подобная сбалансированность стимулирует урбанизацию региона¹⁶³. И хотя вначале города складываются из отдельных ведомственных поселков, сливаясь в агломерацию, они превращаются в аванпосты будущей региональной общности. Безусловно, нечто подобное было и на предыдущих этапах индустриализации. Но тогда, как правило, либо город планировался в самом начале, либо поселок становился городом при естественном разрастании одного или нескольких градообразующих факторов. В рассматриваемом случае большую значимость приобретает результат компромисса между факторами. Все это, так сказать, объективная сторона процесса. В ней нравственный фактор упрятан настолько глубоко, что почти не поддается реконструкции. Попытаемся тем не менее опосредованным образом наметить этапы его эволюции.

§3. Обустройство

Освоение было спроектировано, однако уровень проработки различных фрагментов проекта был неодинаков. Там, где дело касалось объектов производственного назначения, существовали утвержденные и практикуемые нормы, подыскивались аналоги, включалась интуиция проектантов. Там же, где речь шла о размещении людей, устройстве их быта, в проектах зачастую оставались белые пятна. Да и к чему было создавать детальный социальный проект, если на месте все как-то стихийно утрясилось. Конечно, без расчета численности персонала не обходилось, но графа *численность* (да еще помноженная на *коэффициент*

¹⁶³ Перцик Е. Н. Город в Сибири. М., 1980; Куцев Г. Ф. Новые города. М., 1982.

семейности) — это, пожалуй, единственное место в проекте, где люди как-то упоминались. Вместе с тем не хотелось бы говорить здесь ни о крупных просчетах в социальной политике, ни о пренебрежении судьбами людей. В те годы такой укрупненный проектный подход не считался пренебрежением. Это был очередной акт утопии, когда упрощенность и абстрактность схем действия была рассчитана на определенный состав исполнителей. Утопическое сознание успело к этому времени пережить своеобразную смену парадигм.

«В классической утопии нравственный идеал трансцендентен, первичен, а социальная организация вторична»¹⁶⁴.

Именно с конца 1960-х годов в обиходный язык прочно входит слово *обустройство*. Раньше оно встречалось редко, считалось областным (сибирским), означало устройство нового места и «по совместительству» выполняло роль специального термина — *строительство на нефтяных и газовых месторождениях*. Теперь это был синоним устройства жизни, ее благоустройства. С началом освоения тюменских месторождений нефти и газа для всей страны в очередной раз началась жизнь на новом месте, и люди стали эту жизнь обустроить. И когда в 1990 году А. И. Солженицын накануне еще неотчетливой угрозы новых переселений опубликовал свои посильные соображения «Как нам обустроить Россию», меньше всего возражений вызвало слово *обустроить*.

Поэтому синтез индустрии и природной среды в данном месте и в данное время — это не столько очередное *вселение*, сколько переход от странничества России, т. е. движения вширь, к обустройству, т. е. движению вглубь, знаменующий смену утопических парадигм: патриархальной — на индустриальную. В современной утопии главное — разумная организация. Она и есть нетрансцендентный утопический идеал», — пишет по этому поводу Л. Сарджент¹⁶⁵. В соответствии с логикой «обустройства» происходило и решение так называемых «общих» вопросов (т. е.

¹⁶⁴ Сарджент Л. Утопия и утопическое мышление. М., 1991.

¹⁶⁵ Там же. С. 8.

входящих в компетенцию соответствующего «зама» руководителя предприятия). Человек мог чувствовать себя на своем месте, будучи в этих условиях «обустроенным». Речь шла не только о месте жительства, но и обо всем комплексе минимального удовлетворения социальных потребностей. В качестве деривата производственной структуры стала оформляться социальная инфраструктура, включавшая жилищно-коммунальное хозяйство, службу быта, торговлю и общественное питание, здравоохранение и т. д. Понятно, что в обжитых районах она складывается естественно, постепенно, а поэтому неотделима от привычных условий жизни. В районах интенсивного промышленного освоения потребовалось специально ее проектировать¹⁶⁶.

В определении стратегии такого проектирования столкнулись два крайних подхода (они словно разрывали матрицу первоначального заселения по двум ее составляющим). Первый был нацелен на стационарный режим жизнедеятельности, на долговременное пребывание человека в суровых климатических условиях (о постоянной жизни на севере вначале еще не говорили). Второй предполагал десантный способ освоения с использованием нетрадиционных методов труда: вахтового, экспедиционного или же их комбинации.

В споре между сторонниками различных подходов было сломано немало копий, но не было победителей. Ни одна из стратегий не осуществилась в чистом виде. У стратегии освоения-обживания было много аргументов, чтобы стать господствующей. И дело не только в трудности обратного хода, помноженной на крупные капитальные вложения. Дело в инерции оседлости, в необратимости той духовной ситуации, которая сформировалась усилиями первого поколения мигрантов и была усвоена и преобразована последующими. Поэтому, наверное, многие поселки, спроектированные как вахтовые, превратились в стационарные, а затем и в города. Но и *вахтowo-экспедиционный метод*, в том числе и в *межрегиональном варианте* (МР ВЭМ), несмотря на

¹⁶⁶ Силин А. Н. Регулирование социальных процессов на нефтегазовых предприятиях Арктики и Субарктики. Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. 260 с.

серию грозных запретов и категоричных постановлений, продолжал существовать. Кое-где он существует и поныне.

Данный метод заслуживает того, чтобы сказать о нем особо. Элементы его в той или иной степени применялись в хозяйственной практике и раньше: на транспорте, в геологии, в линейном строительстве и т. д. Издавна существовали сезонные работы, привычными были поездки на заработки жителей перенаселенных районов. Бригады шабашников, студенческие строительные отряды работали в сходном трудовом ритме. МР ВЭМ явился индустриальным воплощением своих «предшественников», адекватным именно ситуации интенсивного освоения. Как известно, для метода характерны значительная удаленность места приложения труда от места жительства (до нескольких тысяч километров), длительные периоды экспедиций и межэкспедиционного отдыха (до полумесяца), чередование вахт с таким же по продолжительности отдыхом в непосредственной близости от места работы. Понятно, что в данном режиме вахтовики испытывали не только физические перегрузки. Резкая смена морально-психологического климата воздействовала на них не меньше, чем смена природно-климатических зон. Дополнительную нагрузку создавало и общественное мнение, настороженно относившееся к вахтовикам, где бы они ни находились.

Методы, подобные МР ВЭМ, называют нетрадиционными, и это достаточно точно отражает не только специфику организации труда, но и формы его нравственной регуляции. Традиция как хранитель и транслятор нравственного опыта работает здесь «на излом». Некоторые нормы оказываются изъятыми из порождающих типичных ситуаций; жизнь вахтовиков протекает с определенным фазовым сдвигом относительно параметров социальной динамики как по месту жительства, так и по месту приложения труда. Длительное поддержание подобного ритма жизнедеятельности требует выработки особых форм регуляции поведения, общения, трудовых и бытовых взаимоотношений. Они отличаются высоким динамизмом, в большей степени индивидуализированы, чем у постоянных работников. Вахтовики превращаются в «летающую корпорацию» со специфическими

приемами «социальной сборки» и «демонтажа», с особым кодексом неагрессивного противостояния общественному мнению и социальному контролю.

Предприятия нефтегазового комплекса использовали труд вахтовиков не только потому, что это оказывалось дешевле создания постоянных рабочих мест. В некоторых случаях вахтовики были людьми совсем иной дисциплины и иной индустриальной закалки, чем постоянные работники. Они прошли выучку на крупных промышленных предприятиях, впитали дух индустриальных центров Большой земли. Для того чтобы попасть в летающие бригады, им порой приходилось пройти строгий отбор. Когда в середине 1980-х годов вахтово-экспедиционный метод достиг своего апогея, это было уже не кочевничество и не странничество, это было даже не обустройство. Возник новый канал социальной коммуникации между Тюменской областью и всей страной. По нему не только циркулировала рабочая сила, но и происходил обмен социальным и нравственным опытом. Пожалуй, можно говорить о своеобразном динамичном канале взаимобмена между субкультурами различной степени мобильности. И вахтовики были при этом вовсе не временными агентами технологии, или же «разносчиками вольного образа жизни». Они были людьми на своем месте, и это место всегда было с ними.

§4. Моральный износ

Итак, мы попытались реконструировать организационную подоплеку регионального развития, проявившуюся в урбанизации региона, в формировании социальной инфраструктуры, в попытках социокультурного проектирования, в изменении объективных условий морального выбора как в части топики жизнедеятельности, так и в плане ее производственных и социальных ритмов. Ранее уже говорилось о том, что понимание морали как формы нормативной регуляции, вторичной по отношению к структурированным видам социальной действительности, продуцирует упрощенное, одномерное толкование их контакта, не отражающее системного характера взаимодействия. И для

того, чтобы преодолеть такой одномерный (по сути дела, утилитарный) подход к нравственности, попытались сформулировать теоретическую схему, согласно которой мораль и организация соотнесены в родовом отношении как виды социального порядка. Затем дополнили его предположением об их двойственности, т. е. о возможности взаимоперехода при обоюдной структурной перестройке.

Хорошо известно, что, наряду с *индивидуальным* уяснением нравственного закона существуют зримые *массовые* обострения нравственного чувства разного уровня и масштаба. Рискнем высказать предположение, что такого рода обострения связаны с нравственным кризисом, исчерпанием моральной парадигмы, принятой в свое время тем или иным сообществом. Причем принятие ее могло происходить добровольно, в момент массового энтузиазма, либо под давлением внешних сил, а иногда в результате компромисса.

Если обратиться с этих позиций к опыту освоения приполярных регионов, то можно сделать вывод, что кризис, вызревавший там на рубеже веков (и тысячелетий), с полным основанием можно квалифицировать как кризис нравственный. Конечно, вначале его нравственная сущность была менее всего проявлена. Казалось, просто случайно совпали по времени периоды обострения целого ряда хронических проблем. Затем стало ясно, что вторым планом за ними проступают проблемы кардинальные: отсутствие новых крупных месторождений сырья и истощение разрабатываемых, старение основных фондов и ограниченность капитальных вложений, дефицит квалифицированной рабочей силы и резкое снижение ее притока. Существенную роль стали играть экологические проблемы. Ухудшалось самочувствие популяции. Люди, еще недавно не только именовавшиеся, но и по-настоящему чувствовавшие себя первопроходцами, покорителями северных просторов, героями трудовых будней, понимают, что превратились в заложников процесса освоения. Многие из них, приезжая на Север, хотели использовать возможность начать новую жизнь на новом месте. Теперь они приходят к выводу, что использовали их самих.

Это своего рода «кризис созидания». Он может быть истолкован как симптом исчерпания исходной нравственной парадигмы интенсивного индустриального освоения, свойственной всей системе хозяйства предшествующего периода, но наиболее концентрированно проявившейся в интенсивно осваиваемых приполярных регионах. Готовность и способность людей выступить в качестве средства для достижения целей освоения, высокая степень самоотдачи в стремлении принести пользу в сочетании с утилитарным отношением к среде обитания, к природным ресурсам, к истории края, где им предстояло работать, — вот характерные черты этой парадигмы.

Конечно, по-разному можно истолковать причины и следствия такого сравнительно быстрого исчерпания. С началом периода перестройки могут быть увязаны спусковые механизмы большинства кризисных процессов на региональном уровне. Однако более продуктивной является точка зрения, согласно которой региональный кризис парадигмы утилитарности лишь ускорил ее общесистемный моральный износ. Иными словами, как уже было отмечено в предисловии, страна, словно ослабленный индустриальный гигант, увязла в тюменских болотах, хотя именно там рассчитывала получить очередную ресурсную подпитку.

Предыдущий тезис мы хотели бы развить в части обоснования категории «моральный износ» в буквальном смысле этих слов. Речь идет о жизненном цикле определенной нравственной установки, воплощенной не только в уровне развития техники, но и в социальных технологиях, в принятых способах организации труда и быта, а еще шире — в практикуемых социокультурных механизмах. Тем самым можно говорить не только о смене парадигм, но и об удлинении или сокращении этого цикла.

Почему же ускоряется моральный износ привнесенного способа освоения, сокращается жизненный цикл нравственных установок, характерных для первоначального этапа индустриального наступления на Север? Является ли это косвенным результатом воздействия на людей суровых климатических условий, их оторванности от комфорта, отдаленности от мест привычного про-

живания? Но ведь в течение долгого времени все перечисленные факторы, порой даже усугубленные, лишь разжигали стремление первопроходцев к открытию и освоению новых территорий.

Может быть, причина именно в массовости индустриального освоения, переходе его в режим обыденности, когда былые романтизм и героика уже не способны длительное время поддерживать высокий нравственный тонус? Конечно, трудно найти на эти вопросы исчерпывающие ответы, ибо, скорее всего, речь может идти о переплетении множества факторов. Часть из них уже намечена самой последовательностью подходов к проблемам освоения.

Ситуация нравственных исканий оборачивается кризисом созидания именно потому, что переосмысляются и цели производства, и способы организации, и демографическое поведение. Но это лишь начало последовательного обнажения и распада социальных структур, т. е. целой вереницы кризисов. В конечном итоге ревизии подвергаются достаточно глубинные основания культуры. Иногда в этом чувствуется какая-то завораживающая устремленность к зияющей бездне всеобщей аморальности. Культура раскрывает собственную конгломеративность. Социальные институты дискредитируются, а иные формы сцепления не срабатывают, будучи лишены позитивного нравственного содержания. Но это лишь одна сторона кризиса. Она напоминает поток, якобы разрушающий основания, а на самом деле апеллирующий к силе и устрашению в качестве гарантов социальной и культурной стабильности. Существует и другая сторона. Она связана с процессом «ухода в частную жизнь», с поиском и обретением *своего места*, с повышением статуса личной жизни и личного достоинства. Понятно, что достигается это ценой разрушения морально-политического единства и тем самым нравственно санкционирует иную политику.

Попытка рассмотреть обе стороны данного процесса в географических координатах возвращают нас к уже рассмотренным типологическим моделям культуры, но в новом переработанном и дополненном издании. Поэтому наряду с реанимированными и вновь изобретенными концепциями «Российских Европей»,

«России и Европы», «Заката Европы», «Евразийства», «Второй Европы», «Русской идеи» и «Судьбы России» заслуживает внимательного прочтения рассмотренная ранее типологическая модель, снявшая остроту проблемы амбивалентности культурного противостояния Запада и Востока посредством трансполярного обмена культур. Здесь особо значим северный мотив. Благодаря ему теоретическая реконструкция слагаемых культуры не вызывает болезненности и ожесточения. Более того, он способен представить прошлые кризисы не как вечно повторяемые сюжеты, а как своевременное предупреждение.

§5. Контакт вместо контракта

В понимании того, как эволюционирует структура поселенческого взаимодействия, пережившая нравственный кризис, как происходит ее переплавка в систему общностных связей, большую роль может сыграть коммуникативное видение социально-нравственной ситуации в регионе. Принципиально важными здесь являются два обстоятельства. Во-первых, именно мораль в своих естественных (а потому и не замечаемых) проявлениях есть то «вещество сплочения», которое позволяет массам людей сосуществовать без какого бы то ни было внешнего принуждения и находить взаимопонимание в рамках трудового процесса и за его пределами. Во-вторых, мораль невозможна без передачи нравственного опыта. Она зависит не только от условий непосредственного социального общения, но и от способов функционирования общественного мнения, наличных средств коммуникации, через которые распространяются представления о нормах и ценностях.

Этим объясняется и столь необычное название параграфа. Выражение, вынесенное в заголовок, принадлежит члену «Венского кружка» Ф. Кауфману и в афористичной форме выражает суть подхода к проблеме человеческой коммуникации. Учение о коммуникации сформировалось в первой половине XX столетия как оппозиция доктрине общественного договора. «Коммуникация — вместо корпорации» — так может звучать синонимичная версия этого афоризма.

Согласно К. Ясперсу, в договорных (*контрактных*) отношениях человек теряет подлинность бытия, заменяя его суррогатом мнимых, т. е. корпоративных, форм поведения. Коммуникация как прямой *контакт* сознаний возвращает человеку эту потерю, реализуясь в беседах, дискуссиях, иных формах подлинного общения. По Ясперсу, коммуникация — это «безграничное взаимное пребывание в беседе»¹⁶⁷. В пристальном философском внимании к феномену коммуникации можно увидеть предвосхищение целого ряда проблем общесоциального плана, которые приобрели актуальность в связи с происходящей электронно-коммуникационной революцией. Понятие коммуникации становится системообразующим для целого ряда научных дисциплин, которые, похоже, сливаются в синтетическую науку о способах перемещения во времени и пространстве вещественно-энергетических потоков, биологической, социальной и гуманитарной информации. Тем самым тезис о постиндустриальном обществе (информационной эре) получает здесь дополнительное теоретическое развертывание.

В предыдущих главах настоящей работы основное внимание было уделено этической интерпретации различных типов организационных структур: властной (иерархической), производственной (сетевой) и поселенческой. На основе некоторых вариантов субординации типичных оргструктур была сделана попытка выяснить организационную подоплеку нарастания общностных процессов в регионе. Коммуникативный аспект при этом подразумевался, но почти не был выделен прямым текстом. Тем не менее даже без специального рассмотрения ясно, что иерархическая и сетевая структуры, будучи «жесткими», с одной стороны, придают определенность и стабильность коммуникационным связям, а с другой — сдерживают их естественный рост. В поселении (которое иногда называют полуорганизацией) топология

¹⁶⁷ Данная формула содержится в первом варианте его работы «Идея университета» (Jaspers K. Die Idee der Universitat. В., 1923. S. 37) и в несколько измененном виде — в послевоенном варианте 1946 года. Там же достаточно полно отражен взгляд Ясперса на соотношение корпоративных и коммуникативных начал в университетском сообществе.

организационных связей почти совпадает с множеством коммуникаций. Можно сказать, что нарастание общностных процессов характеризуется, как правило, резким увеличением числа коммуникационных каналов и повышением значимости поселенческих оргструктур. Однако это макроподход, а на микроуровне есть ряд организаций (как правило, учреждений культуры, учебных заведений, самодельных объединений), которые могут «вписываться» в производственную либо поселенческую структуру, но при этом быть автономными в силу высокой информационной или же коммуникативной значимости. Очевидно, что именно они становятся концентраторами человеческого общения и, тем самым, индикаторами зрелости общностных процессов.

Коммуникативное видение социально-нравственной ситуации в регионе позволяет выделить несколько ценностных орбит преодоления или вытеснения корпоративности.

Первая из них концентрирует ценности преодоления организационно-технологической схемы производства, в которой люди рассматриваются как приделки технологии либо, в лучшем случае, как ее агенты. Трудовые функции обволакиваются коммуникациями, ориентированными на различные потребительские, культурные, престижные, рекреационные и иные стандарты. В коллективе предприятия происходит дробление или сепарация с образованием различных клубов, кланов, клик. Это своего рода утилитарный обмен — взаимое использование человека и технологии.

Вторая ценностная орбита связана с преодолением властных функций и их символов. Здесь представлены различного рода служебные субэтосы, способствующие ограничению властных полномочий и компенсирующие их отсутствие. Здесь же вырабатываются стандарты «мудрого руководства» и «достойного подчинения». Коммуникативный обмен не ограничивается в данном случае рамками одного предприятия и вовлекает в орбиту опыт однотипных, однородных, смежных и иных коллективов.

Третья ценностная орбита формируется в процессе преодоления ведомственных границ и производственной иерархии в поселенческой организации. Наряду с естественным размыванием ведомственности, происходит ее разрушение за счет сознательно-

го кооперирования людей по внепроизводственному принципу: от землячества в границах предприятия — до территориального сегрегирования на основе имущественного расслоения. Особого внимания заслуживает ценностно-мотивационный комплекс, связанный с дальнейшим распространением на север коллективного садоводства и огородничества — естественного канала «заземления популяции» и адекватного способа практически-духовной интерпретации места.

Необходимо сказать и об изменениях, которые происходят в ценностях, поддерживающих своеобразный ритм жизнедеятельности большинства северян. Они концентрируются вокруг преодоления двух противоположных «фронтов»: консервативных стандартов оседлости и авантюристических устремлений кочевничества.

Перечисленные ценностные орбиты — убедительные свидетельства упрочения общностных начал. Однако достаточный ли это аргумент в пользу их необратимости?

Рассмотрение «орбитальной системы ценностей» предпринято нами в синхронии и зафиксировано как ценностный дрейф от процесса труда — к месту жительства. Однако более значимы вопросы коренной смены ценностных установок, обретения общностью внеутилитарной нравственной парадигмы (диахронический разрез), которые были освещены ранее. Следует сказать, что движение к общности мы не рассматриваем как управляемое стремление к благодному идеалу и тем более как полную замену (в плановом порядке) контрактных отношений «безграничным пребыванием в беседе». И все же желание людей жить достойно, чувствовать себя на своем месте, вернуть себе не столько свободу передвижения, сколько утраченную во всеобщем организационном порыве субъективность, можно рассматривать как намерение изменить объективные условия морального выбора и тем самым как симптом укоренения посредством общностной интеграции.

Вместе с тем каждый из рассмотренных выше ценностных рисунков — своеобразный набросок картины постиндустриального развития. Так, отказ от парадигмы утилитарности неизбежно снижает планку романтической приподнятости, энтузиазма и ге-

роики. Появляется потребность пристальнее взглянуться в обыденность, отказаться от поэтизации повседневности во имя ее переосмысления. Организационно-технологический остов индустриального освоения, обрастая органикой живых человеческих связей, во имя их сохранения должен быть переплавлен в более гибкую систему коммуникативных связей и отношений.

Это еще один из примеров инверсии по отношению к опыту европейской цивилизации, где индустрия сформировалась на основе выплавленных в сфере обыденной жизни рациональных способов и механизмов деятельности. «Повседневность как правильный тигль рациональности» — так назвал свою статью современный немецкий философ Б. Вальденфельс¹⁶⁸. «Индустрия как рациональная программа повседневности» — так может звучать формула того, что произошло в северных сибирских регионах за последние десятилетия.

Но одним лишь стремлением к преодолению корпоративности постиндустриальные тенденции в развитии региона не исчерпываются. Ведь послыное освоение Тюменской области, о котором говорилось выше, также внесло свой вклад в конфигурацию системы ценностей. Всего несколько лет тому назад слои технологических пространств, равно как и многие комплексы социальной инфраструктуры, были сфокусированы вокруг узловых точек структуры административно-территориальной, т. е. в топологическом отношении были изоморфны. В настоящее время произошла расфокусировка и расслоение этих пространств (позволим себе невольный каламбур относительно того, что вся административно-территориальная схема порой воспринимается всего лишь как совокупность фокусов). Вместе с пространственными структурами расслаиваются (и подчас распадаются) обволакивающие их сети социальных коммуникаций. Все это достаточно сильно коррелирует с расслоением системы ценностей.

Для того, чтобы проанализировать эту и сходные с ней перспективы эволюции этоса, рассмотрим некоторые грани проблемы постиндустриального развития в региональном масштабе.

¹⁶⁸ Социо-логос: социология, антропология, метафизика. М., 1991. С. 39–50.

§6. Постиндустриальная трансформация

В период победного индустриального освоения Сибири общественная мысль Запада была пронизана совершенно противоположными мотивами и ожиданиями. Миф об индустриальном обществе как о лучшем из возможных миров терял свою привлекательность, а на смену ему приходили уже не мифологемы, а реальные проблемы, которые стало невозможно игнорировать: экономические потрясения, политическая нестабильность, духовная деградация... В совокупности с предвестниками экологической катастрофы они требовали переосмысления «индустриальности». В возникшей дилемме — либо современный промышленный мир в его западной разновидности, либо отступление к ценностям традиционно-патриархального уклада — прорисовывались контуры трезвой оценки сценариев будущего развития. Трактовка этих сценариев и составляет содержание большинства современных концепций постиндустриального общества. Они возникли как естественное развитие индустриальной доктрины и в этом смысле продолжали питаться интеллектуальными импульсами общественной мысли Запада, изредка сверяя их с тем, что происходило на Востоке и в России.

В итоге теория постиндустриального общества становится собирательной для целого ряда аспектных *пост*-теорий (*постиндустриальный капитализм, пострыночное, постпотребительское* и иные общества), все активнее сопрягается с концепцией постмодернизма¹⁶⁹, а в последнее время предлагается на роль методологической основы осовремененной политэкономии и отечественного обществоведения в целом¹⁷⁰. Впрочем, мы не будем развивать эту плодотворную идею в ее обновленных аспектах, разве что остановимся на некоторых моментах, ставших уже «классическими». Но сначала зададимся естественным в данной ситуации вопросом: не станет ли постиндустриальный сценарий

¹⁶⁹ См.: Kumar K. From Post-Industrial to Post-Modern Society. Oxford, 1995.

¹⁷⁰ См.: Иноземцев В. Л. Теория постиндустриального общества как методологическая парадигма российского обществоведения // Вопросы философии. 1997. № 11. С. 29–44.

еще одной формой внедрения не освоенного и не присвоенного опыта в виде череды отечественных теперь уже постиндустриализаций? Не желая переводить этот вопрос в сферу идеологическую и не имея возможности рассуждать о нем во всероссийском масштабе, сразу же ограничим его региональными рамками.

Рассматривая уникальный характер послевоенного индустриального освоения в северном сибирском исполнении, мы отметили два взаимодополняющих момента: 1) непосредственное внедрение индустрии в природную (географическую) среду; 2) естественность, с которой географический (колониционный) фактор обрел индустриальные черты. Поэтому экспансионистские тенденции, свойственные индустриализму по месту его рождения и проявившиеся в насильственной колонизации «отсталых» народов, в данном случае были основательно сглажены. В прошлом остался и негативный социально-психологический фон предыдущих отечественных индустриализаций. А благодаря слабой заселенности территории, малочисленности коренного населения, залеганию полезных ископаемых преимущественно в труднодоступных, необжитых местах пафос покорения прежде всего освящал борьбу с суровой, коварной стихией и не выглядел вначале насилием.

Работает ли в этих условиях «классический» постиндустриальный инструментарий, пригоден ли он для трактовки изменений, происходящих в регионе? Ведь асимметрия индустриального этоса в отечественном и европейском вариантах развития при синхронном сравнении очевидна. Более того, если сопоставить внешне сходные спады и подъемы, то в содержательном отношении они не тождественны. Усталости от цивилизации вещей соответствует очередное обострение синдрома ее неприятия, колониальной экспансии — внутренняя колонизация, развенчанию индустриального мифа — моральный износ... И все же в логике индустриального этоса, интерпретируемого в различных социокультурных координатах, появилось и общее. Это *возвращение к Месту*, своего рода ностальгия по утраченному, нерасколдованному этосу-местожительству. В современных рациональных формах этоса, анатомированных оргструктурами различной топологии, такого рода «ностальгия» фиксируется как повышение статуса поселенческих и подобных им организаций с пре-

обладанием реляционной структуры взаимодействия¹⁷¹. Но в содержательном плане подобная ностальгия, конечно, специфична. Если в западных постиндустриальных теориях она проявляется прежде всего в различных формах явного или неявного отказа от формулы «Время — деньги!», а оборотной стороной поиска общероссийских идеологем все чаще становится переосмысление формулы «Пространство — деньги!», то неповторимость регионального этоса — в обретении Места, формально присвоенного в стародавние времена и освоенного в ходе индустриализации.

Поэтому, принимая во внимание отмеченную специфику, еще раз подчеркнем повышение роли реляционного способа взаимодействия в организационном сцеплении региональной популяции. Реляционные оргструктуры, построенные на паритетных началах (без установления формальной субординации), открывают пути не только для непосредственного общения и обмена, но и отличаются большей информационной насыщенностью. Это открывает возможности изучения представленных ими сообществ на основе классических версий постиндустриальной динамики.

Так, в концепции «третьей волны» Э. Тоффлера историческая динамика мировой цивилизации рассматривается как последовательность волновых всплесков, каждый из которых подталкивает человечество к новому типу социальности и культуры. Речь идет о своеобразной исторической триаде: аграрная цивилизация — первая волна, индустриальное общество — вторая, информационная эра — третья волна. *Соха-машина-компьютер* — так выглядит технологическая основа данной триады¹⁷².

Другая версия оперирует уже не технологическими импульсами, а последовательной сменой социальных институтов, стоя-

¹⁷¹ В качестве оттеняющего примера можно привести осмысление *ландшафтного опыта* в контексте иррационалистического типа философствования и соответствующие коммуникативные стратегии, проявившиеся в философской мысли Запада на рубеже XIX–XX веков. См.: Подорога В. А. *Метафизика ландшафта*. М., 2013.

¹⁷² Toffler A. *The Third Wave*. N.Y., 1981. P. 13–16. См. также: Тоффлер Э. *Будущее труда* // Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. С. 250–275.

щих в центре того или иного типа общества. В центре аграрной цивилизации находятся армия и церковь, в центре индустриального общества — корпорация, в центре постиндустриального (информационного) — университет.

Конечно, такого рода концептуальный подход ориентирован на глобальные тенденции, он в определенном смысле надрегионален. Регион же в данном случае занят поиском своей экстерриториальности — это прежде всего уже упоминавшаяся расфокусировка подпространств с их тяготением к несовпадающим ресурсным, деловым, информационным, образовательным, рекреационным и иным центрам¹⁷³. В этом своем тяготении — зачастую искусственно стимулируемом — регион действует в соответствии с постиндустриальным сценарием. Существенно изменилась структура транспортных коммуникаций (особенно в части пассажирского авиатранспорта), информационных каналов (радио, телевидения, периодической печати, междугородной телефонной связи).

Иным стало региональное образовательное пространство, трансформировалась его включенность в пространство общероссийское и общемировое. И это при том, что изменилось отношение к ценностям образования. Оно постепенно теряет значимость средства в достижении карьерных высот, в большей степени становится фактором престижа и формой самоутверждения. Многие специалисты не только переучиваются исходя из потребностей производства, но и стремятся запасть образованием впрок. С распространением дистантного образования появляется возможность без отрыва от места жительства и работы получить диплом престижного столичного и даже зарубежного вуза. И не только диплом, но и значимый, независимый, преодолевающий административно-территориальные и иные барьеры канал информационного обмена. Особая статья — высшее образование детей, родившихся и вы-

¹⁷³ Подобная тенденция квалифицирована В. Л. Каганским как «регионизм» в отличие от регионализма в традиционном понимании (Каганский В. Л. Страна побеждающего регионализма?// Этика успеха. Тюмень; М., 1995. Вып. 4. С. 189–199).

росших на Тюменском Севере. Их профессиональная ориентация в последнее время в значительно меньшей степени определяется «династическими» факторами и даже авторитетом родителей, но тяга к высшему образованию не стала от этого слабее.

И все же за эйфорией богатых возможностей нельзя не разглядеть тревожные симптомы деформации регионального образовательного этоса. Как известно, социальные системы обладают цепкой памятью. Это относится и к российской системе образования, до сих пор находившейся под влиянием «первородного греха» — насильственного внедрения технологичных форм обучения. Это давнего внедрения все еще заметно и в методических традициях, и в преподавательской этике, и в поощрительно-репрессивной роли оценок. В условиях, когда не только вузы, но и средние специальные учебные заведения вместо былой ориентации на «вдалбливание знаний» стали исповедовать рыночную доктрину «оказания образовательных услуг», резко изменилась диспозиция в передаче знания, снизился уровень познавательного и ценностного его аспектов. То есть одна сторона психологически и методически разоружилась, другая пока еще не продемонстрировала в массовом порядке большой тяги к получению образования, а канал обмена между ними не только основательно обмелел в содержательно-смысловом отношении, но и эрозируется под влиянием стихии рынка. Эта ситуация выглядит особенно тревожно там, где отсутствие укорененности людей и недостаток общественных связей дополняются малоконтактными, бесконтактными, по сути дела анонимными, формами суррогатного образования.

Итак, с одной стороны, информационно-коммуникационная перестройка, экстерриториальность, ослабление административной прописки и географической привязки — аргументы в пользу постиндустриальной трансформации. С другой, — информационная, в том числе и образовательная, экспансия не опирается на позитивные изменения в региональном этосе, а университет (как социальный институт, а не конкретное образовательное учреждение) не готов стать не только распространителем знаний, но и норм общения, стандартов эгалитарности, а значит, не способен пока центрировать региональные сообщества. В итоге

в ценностно-мотивационном комплексе, подогреваемом политическими амбициями, может произойти преждевременное испарение «административных», а затем и «географических» ценностей, а без них, да еще при расфокусированной организационно-технологической матрице региона, данный комплекс вряд ли в состоянии самостоятельно «держат» популяцию. Тенденция постиндустриальности в развитии общности способна, таким образом, обернуться тенденцией доиндустриальной разобщенности: то есть, ни контакта, ни контракта.

Сказанное, впрочем, не итог и не прогноз, а попытка переосмыслить орбитальную систему ценностей, о которой шла речь выше, с учетом рассмотренных постиндустриальных тенденций. И эта попытка вновь возвращает нас к проблеме выбора места. Данная проблема проявляется и как выбор того или иного вида социальной динамики, и как выбор той или иной формы семьи, и как выбор того или иного гражданства не столько в правовом, сколько в нравственном смысле этих слов. Проблемная ситуация была и в определенной степени остается не «гамлетовской» («оборвалась времен связующая нить») и даже не «лировской» (разорвалась связь пространств), а какой-то другой. Теперь она дополнительно обостряется конфликтом территорий внутри самой Тюменской области.

Что же касается прогнозных сценариев, то ни один из содержащихся в известных нам экспертных опросах, специально посвященных Тюменской области, не оправдался. Те же, кто смотрят на ситуацию не изнутри, а извне, — апеллируют опять-таки или к соседнему пространству (цивилизованному Западу, фундаменталистскому Востоку), или к предшествующему времени, а далее действуют дедуктивным методом. Пессимистичная или оптимистичная трактовка привлеченных для этого аргументов, очевидно, обусловлена особенностями физиологии интерпретатора. Но, как известно, оптимизм иной раз состоит в уверенности, что действительность непредсказуема, а прогнозы, как правило, не сбываются.

Глава 6

| ПЕРСПЕКТИВЫ |

На протяжении всей работы мы неоднократно останавливались на различного рода инверсиях, характерных для «инобытия» этоса, т. е. развертывания его в лоне иной культуры. Без этих инверсий эволюция этоса выглядела бы плавным полетом стрелы, выпущенной искусной рукой античного лучника, пересекающей время и пространство и вонзающейся в недра земли где-то в районе Самогтора. Впрочем, иллюзия плавности и непрерывности все равно возникает. Создается она как ретроспективным взглядом на эволюцию этоса, так и последовательным характером изложения.

А ведь этос рационализировался именно благодаря дискретности, был анатомирован организациями дискретного типа, сочетал в себе не только дискретность формально организованного действия, но и архаичные, непреодоленные механизмы разрушительного экстенсивного неорганического распространения. Может быть, именно в них заключена опасность индустриального воздействия, а попытки обуздания связаны не только с коммуникационным и информационным реваншем, но и с органическим перерождением. Поэтому, желая наметить перспективы регионального развития, мы тем не менее еще раз обратимся к тому историческому моменту, с которого началось расколдовывание этоса.

§1. От дискретности к предельному переходу

Интересующие нас механизмы разрушения были замечены еще в тот период, когда открытие Фалеса стало основанием рациональной онтологии. Наглядной иллюстрацией в данном случае являются апории Зенона, в том числе наиболее известные из них — *Дихотомия* и *Ахиллес и черепаха*¹⁷⁴.

Несмотря на то, что, с точки зрения здравого смысла, они продолжают восприниматься как софизмы, в них впервые поставлена проблема дискретного исчисления континуума. Неспособность соединить в мышлении потенциальную бесконечность, возникающую в результате последовательного (алгоритмического) деления величин, и бесконечность актуальную, т. е. составленность из бесконечного числа актуально данных элементов, стала одним из «роковых» вопросов человеческого ума. Проблема эта может показаться абстрактной, внутринаучной, слишком далекой от поднятых нами вопросов. Действительно, в чистом виде апории Зенона интересовали и продолжают интересовать достаточно узкий круг математиков и философов, но даже в этой среде «существуют самые разнообразные мнения: от совершенно пренебрежительного отношения к ним до признания того, что они относятся к наиболее важным и трудным вопросам обоснования математики и физики»¹⁷⁵.

Мы рискнули затронуть эту проблему, точнее, еще раз напомнить о ней, поскольку способы разрешения возникающих при ее постановке противоречий всегда коррелировали с актуальными для той или иной эпохи вопросами о сущности бытия, об его историчности, о судьбе культуры и будущем цивилизации, о пределах экстенсивного развития. Отзвук этих идей можно за-

¹⁷⁴ «Из 45 апорий, выдвинутых Зеноном, до нас дошло 9. Классическими являются пять апорий, в которых Зенон анализирует понятия множества и движения» (Гайденко П. П. Эволюция понятия науки. М., 1980. С. 65). Помимо указанных, это *Апория меры*, *Стадий*, *Стрела*.

¹⁷⁵ Яновская С. А. Методологические проблемы науки. М., 1972. С. 214. К числу таких вопросов относятся логические обоснования предельного перехода, теории множеств, квантовой механики и др.

метить и в диалектическом методе Гегеля, пытавшегося осознать противоречивый характер европейской истории, и в методологии исторического познания французской школы «Анналов», и в парадоксальных размышлениях Борхеса¹⁷⁶, и в докладах Римского клуба, в анитехнологических настроениях 1970-х и в новой технологической волне 1980-х...

Как же произрастает эта проблематика на отечественной почве, каким образом проецируется на региональный уровень?

§2. Беспредел

Когда думаешь о том, как эти вопросы осваивались нашей культурой, какие принесли реальные плоды, чаще всего на память приходит именно это слово. Поразительно, с какой легкостью и быстротой перешагнуло оно сравнительно недавно былые жаргонные рамки и завоевало пространство обыденного языка, проникло в речи комментаторов и письма публицистов. В своей популярности сразу же затмило устойчивый полуцензурный ярлык «бардак», вернее, оттеснило его ко временам застоя и перестройки, а себе самовольно присвоило роль символа послеперестроечного смутного времени.

Видимо, какими-то небывалыми гранями сверкнула тогда наша жизнь, коль существительное это, образованное не по законам языка и обозначающее «беззаконие» (по отношению к «закону» воровскому, криминальному), пришлось вдруг к месту и ко времени. Какие-то границы оказались порушенными, а возмущенное сознание ищет внешние пределы своему развешиванию и не находит их.

И тогда мысль привычно обращается к прошлому, подбирает исторические аналоги и примеряет их к современной ситуации. И ситуация обретает знакомые черты. Получается, что все это

¹⁷⁶ Х.-Л. Борхес посвятил парадоксам Зенона одно из своих ранних эссе «Аватары черепахи», но замысел воображаемой «Биографии бесконечного» реализован им и в других произведениях: «История вечности», «Циклическое время», «Доктрина циклов», «Вавилонская библиотека», «Сад расходящихся тропок» и т. д.

уже было, и не однажды, что в очередной раз мы имеем дело с беспредельным делением вглубь и умножением вширь как реакцией на чужой неосвоенный опыт.

Опыт этот трагическим резонансом отзывался в отечественной истории, отчего и несовладание с актуальной бесконечностью давало повод объявить ее запретной, дурной, нецензурной... Тем самым, места далекие, неизведанные, еще вчера манившие своей беспредельностью, превращались в *места не столь отдаленные*, до боли знакомые, но как будто несуществующие, находящиеся за пределами цензурируемого сознания. А то вдруг история страны в очередной раз становилась ее географией. И поднятая целина у себя дома, под боком, словно разрушенная цельность, органичность (и *ограниченность*), взрывалась беспредельным энтузиазмом освоения целинных и залежных земель, как, впрочем, и пафосом предыдущих и последующих освоений.

Но не является ли привычность ситуации, ее узнаваемость посягательством на уникальность переживаемой реальности? Не есть ли это попытка искусственно продлить беспредельное повторение типичности, за которым стоит скрытая апелляция к силе, способной положить конец стихии своеволия? Ответ на эти вопросы можно получить только беспристрастным самоопределением, когда захлебнувшаяся логика деления и умножения обращается за помощью к новой этике — этике самоограничения, этике равноправного диалога культур и честного контракта с природой. Когда появляется слабая надежда, что конец беспределу может быть положен не топором диктатуры, не переходом властного произвола в технологию власти, во всяком случае, не только этим, а трансформацией культуры, пытающейся преодолеть собственный нравственный разлад.

Конечно, многое из сказанного относится к проблемам надрегионального, даже глобального характера. Алгоритмы индустриального наступления достаточно легко преодолели национально-культурные барьеры и рамки социальных институтов. Гибельность безудержного распространения технократических и утилитаристских тенденций лишь по месту рождения может быть отнесена к западноевропейской цивилизации. А в ны-

нешней ситуации, как остроумно заметил С. Е. Лец, «каждый народ по-своему произносит вопрос Гамлета». Значит и стратегия изгнания «бесов» индустриализма видится по-разному. Поэтому для выработки адекватного угла зрения и стоит рассмотреть предложения покончить с беспределом, в том числе и радикальными средствами. Одно из таких предложений основано на ревизии колониционного фактора российской истории.

§3. Конец географии

В наиболее парадоксальной форме такого рода попытка выражена в 1980-е годы известным советским географом В. М. Гофманом в виде тезиса: «пространство — это наш бич». Мы отдаем нашим необъятным просторам больше, чем получаем от них. Они словно высасывают соки из организма страны, требуя для своего поддержания колоссальных усилий. Они постоянно подталкивают нас к экстенсивному пути развития. А отсюда «логичный» вывод: «И если бы за Уралом плескался океан, то скорее всего Россия уже давно была бы полноправным членом сообщества цивилизованных стран»¹⁷⁷.

Понятно, что этот и подобные ему выводы при всей их экстравагантности имеют определенное эвристическое значение и вряд ли требуют опровержения в лоб. Собственно говоря, сослагательное наклонение продвигает географию к номотетической методологии, превращает ее в науку в сциентистском смысле. Но не станет ли такого рода теория призывом на борьбу с «пространственным беспределом» и, тем самым, идеологическим оправданием вольного обращения с территорией и ее границами?

Оставляя данный вопрос без ответа, мы хотели бы обратить внимание на изнанку сослагательного географического мышления и тем самым реконструировать проявленность в нем специфичных черт регионального этоса. Эта изнанка становится почти очевидной, если обратиться к размышлениям о том, как

¹⁷⁷ Трейвиш А., Шупер В. Теоретическая география, геополитика и будущее // Свободная мысль. 1992. № 12. С. 31.

«необъятность русской земли, отсутствие границ и пределов выразились в строении русской души»¹⁷⁸. Мимо данной темы не прошел, пожалуй, ни один крупный отечественный мыслитель прошлого века, ни один из зарубежных путешественников в своем желании понять характер и нравы народов, населявших Россию. Недавняя попытка собрать лишь малую часть их высказываний под одной обложкой производит сильное впечатление¹⁷⁹. Но как замечает в предисловии к книге Л. В. Смирнягин, «Штампы, словно проказа, изъедают тексты многих маститых мыслителей нашей культуры. Одни и те же причитания по поводу унылости наших просторов, ледяных степей, убогих деревенек, сумрачного неба и т. п.». Автор предисловия считает, что в этом проявляется «извечное для России, мучительное для нее раздвоение культуры на народную и высокую», что культуре народной вовсе не присуща ипохондрия, сформировавшаяся «под сильнейшим воздействием европейского примера». «Можно говорить, — продолжает он, — что пространства породили в русской душе изменения и даже искажения... но нельзя говорить о том, что русский человек ощущает свои пространства столь же ипохондрически, как русский интеллигент»¹⁸⁰.

Как же это соотносится с проблемой культурного «инобытия» этоса? Самым непосредственным образом. Рамки, задаваемые духовной раздвоенностью, возникшей в момент Петровских реформ, это и есть координаты внедрения и освоения этоса. На ранних этапах он существует, конечно, не как региональный, а лишь как тиражированный с точностью до необходимого разнообразия производственный этос. Поселенческое начало присутствует в нем в иррациональных формах, а если и рационализируется, то лишь как иллюзия нового или просто иного места. Так было и в последующих индустриализациях. И только в период послевоенного индустриального освоения Сибири (как

¹⁷⁸ Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 8.

¹⁷⁹ Хрестоматия по географии России. Образ страны: Пространства России / авт.-сост.: Д. Н. Замятин, А. Н. Замятин. М., 1994.

¹⁸⁰ Там же. С. 10–11.

мы пытались показать в предыдущей главе) происходит снятие этой раздвоенности и тем самым — кардинальное изменение природы внедренного этоса: он становится региональным.

Что же в таком случае фиксирует «география в сослагательном наклонении»? Только ли неадекватное прочтение региональной ситуации, ошибочно подставленной в контекст иного пространства? Вряд ли только это. Присутствует в ней и вневременное (ахроничное?) стремление «преодолеть пространство и простор», «сделать сказку былью» — своеобразная ревизия русского космизма в его индустриальном издании. Остается лишь надеяться, что динамичная перспектива постиндустриального развития сибирских регионов лишит подобные умонастроения той питательной среды, которая необходима для актуализации их в качестве утопической (правильнее, наверное, ахронической) доктрины.

И еще одна заманчивая, а возможно, и обманчивая перспектива. О местах отдаленных и «не столь отдаленных» порой говорили: «конец географии». Может быть, теперь эти слова приобрели иной смысл. И северные сибирские территории — не «краешек земли», граница пространственного беспредела, но Место, где индустриальное, а затем и постиндустриальное пространство ограничили (определили) пространство географическое. А это значит, что этап интенсивного индустриального освоения Сибири — и в первую очередь Тюменской области — перевернул последнюю страницу истории как географии и приоткрыл страницу собственно истории. В таком случае реальные перспективы развития региона зависят от того, найдет ли человек свое место в данном историческом потоке.

§4. Тюменские параллели

Начнем с цитаты, точнее с некоторого подобия эпитафии. В. Набоков, преподававший одно время литературу в Корнельском университете, при изучении «Улисса» Дж. Джойса предлагал студентам в качестве «методического пособия» карту Дублина. Вспоминая этот свой методический прием, он прокомментировал его следующим образом: «Точное понимание

маршрутов Леопольда Блума и Стивена Дедалуса, пересекающихся на улицах Дублина, в тысячу раз важнее, чем пресная мнимогомеровская аллегория, которая радует университетских преподавателей... И вместе с тем я встречал в Америке специалистов и несчастных студентов, обманутых ими, которые были убеждены, что если они освоят тусклые параллели между “Улиссом” и “Одиссеей” или перечень человеческих органов, которые якобы символизируют главы, они автоматически узнают оба произведения, не изучая их. Что до меня, то я ставил плохую оценку всякий раз, как они употребляли слово *символ*»¹⁸¹.

Приведенный отрывок по ассоциации сразу же напоминает фразу о том, что Тюменская область очертаниями похожа на *человеческое сердце*. Впервые прозвучавшая в дни празднования пятидесятилетия области, фраза стала расхожей, а последовавшие затем события способствовали тому, чтобы подмеченное сходство обрело символический смысл.

Понятно, что плохую оценку (у Набокова) заслужил бы не автор более или менее удачного образа, а эпигоны-интерпретаторы. Но не об оценке речь. В ситуации, когда вопрос о единстве области приобрел драматическое звучание, проникновение символов не только в массовое сознание, но и в суждения экспертов, стало особенно заметным. А это чревато опасностью подмены реального противостояния символическим. В то же время борьба с символами, попытки публичного разоблачения только укрепляют их власть над людьми.

Казалось бы, выход в спокойном и бесстрастном теоретическом воссоздании ситуации. Но возможно ли оно, когда речь идет о нравственной жизни региона? И застраховано ли, в свою очередь, теоретическое рассмотрение от другой опасности — подмены реальности более или менее непротиворечивым умственным конструктом? Похоже, здесь и пригодится методический прием, рекомендованный В. Набоковым: карта местности в качестве сопроводительного документа к тексту.

¹⁸¹ Беседа Владимира Набокова с Пьером Домергом // Звезда. 1996. № 11. С. 58.

Тюменский меридиан — еще один образ, прочно впечатавшийся в сознание многих жителей области. В устремленности на Север виделся смысл ее современной истории. Но если посмотреть на карту области, где прочерчены трассы автомобильных и железных дорог, авиaperезовозок, линий связи и электропередачи, трубопроводов и прочих коммуникаций, то создается впечатление, что меридиональная ориентация преобладает на севере области, а к югу начинают «побеждать» параллели. В широтном направлении ориентированы и границы округов. Тем самым организующее значение Тюменского меридиана в основном символическое, а не вещественно-коммуникативное. Какой же должна стать подготовка к тому, чтобы не только географическое, но и человеческое измерение Тюменской области не было одномерным?

Вряд ли здесь можно дать какие-то рекомендации, даже если они экономически целесообразны. (Например, протянуть ветку железной дороги Тюмень—Тавда, чтобы соединить областной центр с районами лесной промышленности, которые больше тяготеют к Свердловской области.) Впрочем, кое-что в данном направлении делается: газификация юга области, прокладка шоссейной дороги Тюмень—Нефтеюганск и т. д. К сожалению, одновременно с этим разрушаются уже сформированные подпространства социальной инфраструктуры, ориентированные вдоль Тюменского меридиана. Поэтому в данном случае мы воздерживаемся не только от рекомендаций, но и от оценок чьей-то конкретной деятельности и лишь с сожалением констатируем: усиливающееся топологическое несовпадение организационных структур, систем социальных коммуникаций с географическим пространством — тревожный симптом того, что региональный этос еще не стал этосом региональной общности.

§5. Экологический императив: устойчивое развитие

Рассмотрение перспектив регионального этоса в экологической проекции не является данью моде. Частично эта тема уже затрагивалась в предыдущих главах. И задача данного параграфа — наметить этические парадигмы экологической

проблематики. Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что современное экологическое сознание в какой-то мере повторяет тот путь, которым шло сознание нравственное: идет ощупью, преодолевая пафос всеобщего запрета, от табуирования к позитивной мотивации. В этом видится подтверждение едва намеченного в предыдущих главах тезиса о том, что экологическое сознание может рассматриваться как современная форма самораскрытия этоса.

Чтобы прояснить данную позицию, попытаемся соотнести тенденции регионального развития с некоторыми движениями и инициативами *экологического десятилетия*. Концепция устойчивого (поддерживающего, сбалансированного) развития — одна из самых авторитетных в их ряду.

Выражение *устойчивое развитие* получило широкое распространение после публикации в 1987 году доклада Международной комиссии по окружающей среде и развитию¹⁸², известной как «Комиссия госпожи Брундтланд» (по имени своего председателя премьер-министра Норвегии Г. Х. Брундтланд). Следует отметить (это будет важно в дальнейшем), что *устойчивое развитие* — лишь один из вариантов перевода английского выражения *Sustainable development*. По мнению многих экологов, не самый лучший вариант, хотя в последнее время часто возникают сомнения в точности и адекватности английского оригинала названия. Впрочем, и основная мысль концепции, по сути дела, ее девиз: «Устойчивое развитие — это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности»¹⁸³, — требует уточнения и воспринимается экологической общественностью различных стран неоднозначно¹⁸⁴.

¹⁸² Русский перевод см.: Наше общее будущее. М., 1989.

¹⁸³ Там же. С. 50.

¹⁸⁴ Например, высказываются опасения, что при нынешнем уровне развития производительных сил и потребления природных ресурсов указанный девиз — «это не более, чем лозунг, плохо завуалированное и абсолютно безнадёжное желание богатых стран и слоев общества сдержать стремление

Концепция, представленная в Докладе, изначально глобальна. Биосфера рассматривается как единая система, ей присуща определенная хозяйственная емкость — производительная способность экосистемы, человечество мыслится как единый человеческий род. Поэтому, если исходить из этих концептуальных постулатов, «устойчивое развитие в одной отдельно взятой стране — дело совершенно невозможное»¹⁸⁵. Тогда национальная, и тем более региональная, доктрина должна, по идее, представлять собой соответствующий уровень редукции от общего к частному. И здесь также возникает целый ряд вопросов. А поскольку то или иное прочтение глобальной концепции может порождаться способом расшифровки ее истоков, то последний момент приобретает порой кардинальное значение.

Если выделить в качестве основополагающих такие концептуальные идеи, как поддержка, возвращение долга, компенсация, то они ассоциируются у многих исследователей с положениями философии буддизма и близких по духу этических и культурно-воспитательных систем Востока. В последнее время на эту роль все чаще выдвигается учение М. Ганди о сатьяграхе — искусстве и технике политической борьбы, основанной на определенной этико-философской позиции¹⁸⁶. В качестве таковой Ганди избрал следование принципу *ахимсы*, что переводится с санскритского как ненасилие. Но реальное содержание понятия намного богаче. «Ахимса — это и непричинение зла всем живым существам, и деятельная помощь им, и усмотрение единства в самых разнообразных, не связанных между собою явлениях, и чувство

бедных к повышению благосостояния» (Акимова Т. А., Коновалов С. М., Хаскин В. В. О концептуальной структуре управления природопользованием в России // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. ВИНТИ. 1997. № 6. С. 22).

¹⁸⁵ Данилов-Данильян В. И. Послесловие к кн.: Америка и устойчивое развитие // ЭКОС. 1996. 1–2 (11). С. 147.

¹⁸⁶ Ганди М. Моя жизнь. М., 1959. С. 198–199. См. также: Девяткин С. В. Искусство сатьяграхи // Опыт ненасилия в XX столетии. Социально-этические очерки. М., 1996. С. 16–65.

благоговения перед жизнью во всех ее проявлениях, и стремление к внутренней чистоте, и многое другое»¹⁸⁷.

Теперь обратимся к интерпретации истоков концепции устойчивого развития в иных социокультурных координатах. Имеется в виду трактовка, опирающаяся на другое понимание устойчивости. В русском языке это чаще всего выражается путем перевода названия как *сбалансированное развитие*, что соответствует европейской научной и гуманистической традиции, где идеи баланса (равновесия) и развития пронизывают всю историю культуры от античности до наших дней. Принцип равновесия легко обнаруживается в формулировках естественнонаучных законов, в социально-экономических и юридических воззрениях. Утвердился он и в этической науке. Так, знаменитое «золотое правило нравственности» выводится из рационализированной схемы первобытного талиона, трактуемой как равновесное возмездие¹⁸⁸. Отражением принципа равновесия можно считать и идею справедливости в европейском моралеведении, проявившуюся в этических, а равно и в политико-экономических взглядах А. Смита и т. д. За полтора десятилетия до публикации доклада «Комиссии госпожи Брундтланд» именно такая установка сбалансированности была положена в основу четырех законов экологии, сформулированных известным американским ученым Б. Коммонером:

- 1) Все связано со всем.
- 2) Все должно куда-то деваться.
- 3) Природа знает лучше.
- 4) Ничто не дается даром¹⁸⁹.

Что же касается категории развития, то несмотря на обилие и неоднозначность ее трактовок, многие атрибуты развития, в том числе необратимость и направленность, связываются напрямую не столько с идеей прогресса, сколько с научными и техническими до-

¹⁸⁷ Девяткин С. В. Искусство сатьяграхи // Опыт ненасилия в XX столетии. Социально-этические очерки. М., 1996. С. 21.

¹⁸⁸ Гусейнов А. А. Золотое правило нравственности. М., 1988. С. 97–107.

¹⁸⁹ Коммонер Б. Замыкающийся круг. М., 1974. С. 23–33.

стижениями. Впрочем, сочетание понятий *равновесие* и *развитие* в едином выражении стало возможным только в русле эволюционных представлений. Хотя эти понятия и не взаимоисключали друг друга, существовали они на различных концептуальных орбитах. Показательно, что современная концепция, оформившаяся как способ обуздания тенденций индустриальной цивилизации, удивительным образом напоминает идеологический постулат «крестного отца» индустриализма О. Конта о совпадении духа промышленности и социальной солидарности¹⁹⁰. Девизом трансформации общества провозглашается: «Порядок и Прогресс!», поскольку «прогресс есть только развитие порядка»¹⁹¹. Этот девиз был творчески воспринят Г. Спенсером в его эволюционной этике, предвосхитившей не только дарвинизм, но и структурно-функциональный анализ.

Тем самым этическая парадигма европейского (западного) прочтения концепции проявлена в меньшей степени, нежели ее восточная версия. И хотя в каждой из трактовок этический акцент расставлен неодинаково (в восточной — на *развитии*, в западной — на *сбалансированности*), реконструкция этих парадигм осуществима в соответствующем культурном контексте.

Иначе обстоит дело с построением отечественной стратегии устойчивого (сбалансированного развития), если, конечно, иметь в виду не адаптацию очередной «новинки» в политическом лексиконе, а реальный поворот хозяйственной практики и социальной политики в русло устойчивого существования. Ведь в конечном счете речь идет не о программе организационно-технических мероприятий, а о поиске и экспликации нравственной установки, которая бы не только заместила исчерпанную парадигму утилитарности, но и содержала созидательный заряд, была способна санкционировать позитивные изменения. То есть речь идет об адекватном прочтении самораскрытия этоса.

Как известно, и в данном случае существуют самобытные отечественные истоки. Сто лет назад были написаны слова, ко-

¹⁹⁰ Конт О. Общий обзор позитивизма. СПб., 1913. С. 25.

¹⁹¹ Конт О. Курс позитивной философии. СПб., 1912. С. 122.

торые вполне созвучны идеям устойчивого развития: «Итак, мир идет к концу, а человек своей деятельностью даже способствует приближению конца, ибо цивилизация эксплуатирующая, но не восстанавливающая, не может иметь другого результата, кроме ускорения конца»¹⁹². Идейное течение, получившее название русского космизма, не ограничивалось такого рода предупреждениями, а разрабатывало и позитивные программы спасения перед угрозой почти неминуемого конца мира. Это выразилось в разработке целостных, обобщающих конструкций, которые характерны прежде всего для естественно-научной мысли. Но большинство таких конструкций в качестве идейно-философского ядра содержит осознанную этическую позицию. Так, В. И. Вернадский еще в студенческие годы написал работу «Этика», которая, по сути дела, стала этической программой будущих научных исследований. Такого рода программы, проекты, обоснования можно обнаружить в творческом наследии В. В. Докучаева, Н. А. Умова, К. Э. Циолковского, А. Л. Чижевского, А. А. Любищева и других космистов.

Итак, попытка истолкования истоков концепции устойчивого развития в различных социокультурных координатах приводит к той же диспозиции, что и при реконструкции развития индустриального. Конечно, этого стоило ожидать. Но тогда легко предсказуемы и последствия попыток выдать какую-либо из трактовок за всеобщую и глобальную. И еще одно. Амбивалентность реакции отечественной культуры на индустриальное внедрение была преодолена на различных уровнях и в несколько этапов. В духовном отношении это выразилось в снятии дихотомии *Запад–Восток* посредством новой типологической модели, где за Россией признавалась роль *Севера*; в практическом — во внедрении индустрии в природную среду непосредственно, минуя среду социальную; в духовно-практическом — в становлении регионального этоса районов нового индустриального освоения.

В таком случае можно было бы ожидать актуализации тех экологических инициатив, которые адекватно улавливают дан-

¹⁹² Федоров Н. Ф. Сочинения. М., 1982. С. 301.

ную перспективу регионального этоса. Однако этого не произошло. Выражение «устойчивое развитие» со временем утратило экологическое звучание и приобрело экономический акцент. А затем и вовсе превратилось в наукообразный штамп. Как один из способов возрождения экологического содержания концепции (в том числе и на региональном уровне) можно рассматривать влиятельное общественное движение, получившее название *Арктическая политика*¹⁹³.

§6. Арктическая политика

СССР всегда был субъектом международной политики в Арктической зоне, хотя его политическая роль не во всех своих аспектах была проявлена. В какой-то степени можно говорить о формировании научной политики по отношению к Северу, основой которой стало отечественное североведение. Продолжало поддерживаться в годы холодной войны — хотя порой на минимальном уровне — традиционное сотрудничество арктических стран. Теперь, когда полярная зона стала одной из самых тревожных в плане глобальных экологических проблем, обнаружились «зазоры» между формами исследовательского сотрудничества, хозяйственного взаимодействия, геополитических интересов. Движение Арктической политики объединило представителей приполярных стран под знаком критической оценки различных сторон пагубного воздействия человека на природу в столь уязвимой для нее зоне. С возникновением движения его название перешло на объект этой критики — реальную арктическую практику. Получается, что наша страна вошла в указанное движение на общественно-политической волне, поскольку стратегия арктического поведения, существовавшая на уровне государственных структур, явно нуждалась в социальной модернизации.

Нетрудно показать, что основные принципы западного понимания Арктической политики — это те же идеи сбалансированного развития, но сформулированные на другом языке. Во всяком

¹⁹³ См., напр.: Young O. Arctic Politic and Cooperation in the Circumpolar North. Hannover, 1992.

случае, дискретный индивид — *хозяин своего тела и своего дела*, а также его модификации — это базовые элементы различных моделей сборки социального целого, т. е. моделей организационных. Большинство этих моделей изоморфны, легко допускают различные языки описания. Иначе обстоит дело с квазиорганической моделью, которая, собственно, и репрезентирует отечественную культуру после серии освоенных — индустриализаций. В рамках оперирования данной моделью индустриальный и политический языки требуют различных способов истолкования. В одних случаях это достигается непосредственно, в других — требуется дополнительная экспликация модели. Как известно, индустриальный паритет нашей страны с Западом в период холодной войны был достигнут высокой ценой, но при полном отсутствии внутренней политической жизни в привычном ее понимании. Это рассогласование индустрии и политики сохраняется и в послесоветском государственно-политическом лексиконе.

С учетом названного обстоятельства необходимо рассматривать и основные программные документы в сфере Арктической политики. Повышение авторитета международного сотрудничества идет по линии поддержки и оформления на правительственном уровне общественных движений и научных контактов. Так, вслед за «Стратегией защиты окружающей среды в Арктике», принятой в 1991 году в Рованиеми, была сформулирована «Декларация об окружающей среде и развитии», подписанная от имени правительств восьми арктических стран министрами по экологии и охране окружающей среды в Нууке (Гренландия) в сентябре 1993 года. Затем последовали аналогичные межправительственные встречи и соответствующие коммюнике. Разумеется, это отрадный факт. Но насколько он обеспечен со стороны России во внутривнутриполитическом отношении? Ведь как бы ни проходила в нашей стране арктическая «политизация сверху», ясно, что одностороннее подчинение отечественной практики северного освоения принципам сбалансированного развития, либо ее включение в уже сложившийся спектр Арктической политики без достаточно серьезного встречного движения (в том числе и политического) чревато негативными последствиями.

В итоге, как это было и с концепцией устойчивого развития, экологическое звучание Арктической политики России приобрело геополитический акцент, а затем и вовсе стало трактоваться как внутренняя и внешняя политика государства в отношении российского региона Арктики.

Российский регион Арктики определяется в «Политике российской Арктики» как все русские владения, расположенные к северу от полярного круга (это где-то 20% территории страны). Россия является одной из пяти стран, граничащих с Северным Ледовитым океаном.

Основными ее целями в арктической зоне являются использование природных ресурсов, защита экосистем, использование морей как транспортной системы. В настоящее время наша страна поддерживает военное присутствие в Арктике и планирует усилить его за счет пограничной и береговой охраны.

Россия проводит обширные исследования в Арктическом регионе, в частности пилотируемые дрейфующие ледовые станции и экспедицию «Арктика-2007», которая первой достигла морского дна на Северном полюсе. Исследование частично направлено на поддержку территориальных претензий России, в частности тех, которые связаны с расширенным континентальным шельфом России в Северном Ледовитом океане.

§7. Этнос и этнос

Международная практика освоения, не дожидаясь фундаментальных постановок экологических проблем и их разрешения средствами научного знания, опирается на целый ряд рекомендаций и директивных положений авторитетных общественных организаций, а также финансовых, экономических и иных структур международного ранга. В первую очередь это относится к положению коренных народов Севера. Так, Генеральная конференция Международной организации труда (МОТ) на 76 сессии в июне 1989 года подтвердила свою приверженность международным нормам в отношении этноукорененного населения и других народов, ведущих племенной образ жизни («Кон-

венция 1957 года»), и дополнила их целым рядом положений, составивших новый вариант, получивший название «Конвенция 1989 года о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни». Гласной стала и политика Всемирного банка в отношении проектов, затрагивающих интересы коренного населения. Она сформулирована в операционной директиве Банка ОД 4.20 (сентябрь 1991 года), и, несмотря на специфическое примечание¹⁹⁴, отражает тщательную работу экспертов в данной предметной области. Почему же так внимательны указанные международные организации к коренным народам? И почему, в общественном мнении нашей страны, до сих пор несущей в себе след индустриального разлома, сходная ситуация не вызывает адекватных и конструктивных реакций?

Гораздо легче рассмотреть несколько вариантов объяснения подобной ситуации (на основе двух уже рассматривавшихся моделей — организационной и квазиорганической или на примере различных агрегатных состояний социума¹⁹⁵), чем найти приемлемый способ ее понимания. Ведь возможный организационный компромисс и соответствующий ему морфологический анализ, оправдавший себя на уровне индустриального языка, требует переосмысления на постиндустриальном (постмодернистском, пострыночном и т. д.) уровне. К сожалению, классические постиндустриальные модели вряд ли будут адекватны региональной ситуации в недалеком будущем. Например, при возросшей тяге к высшему образованию (что может служить признаком постиндустриальности) обнаружились тенденции сдачи уже достигнутых позиций в части образования среднего. По мнению исследователей, это происходит из-за оттока

¹⁹⁴ В форме повторяющейся сквозной сноски отмечается, что «директива подготовлена в качестве руководства для сотрудников Всемирного банка и не претендует на полноту изложения предмета».

¹⁹⁵ Имеется в виду одна из немногочисленных попыток прогноза человеческого поведения в ситуации экологического кризиса. В ее основе модель «агрегатного состояния» социальных систем, предложенная В. К. Шабельниковым в докладе на Конгрессе Глобального антиядерного альянса в Алма-Ате.

квалифицированных педагогических кадров, недостаточной материально-технической базы школ, низкой обеспеченности семей школьников и просто из-за их упорного нежелания учиться. Особенно тревожной становится образовательная ситуация да и сама обстановка в полиэтнических школах, посещаемых детьми коренного населения.

Считается (во всяком случае — провозглашается), что компромисс, определявшийся долгое время индустриальным паритетом, теперь должен достигаться путем сближения на основе человеческих контактов и взаимопонимания. Однако, как известно, достижимость непосредственного этического компромисса всегда была сомнительна, если не принимала какую-либо адекватную социально организованную форму. Таким способом согласования и был в период интенсивного освоения региона индустриальный язык. По сути дела, экологические движения и инициативы пытаются, отказавшись от этого языка, перейти к другому уровню организационного согласования.

Некоторые аспекты замены на региональном уровне организаций коммуникациями, а индустриального контракта — общностным контактом были рассмотрены в предыдущей главе. Но следует подчеркнуть, что в ней, как и во всей работе, данные вопросы обсуждались с позиций того ядра региональной популяции, которое по-прежнему отождествляет себя с индустриальными технологиями освоения. Это делалось сознательно. Мы воздерживались не только от попыток объектного исследования ситуации, в которой оказались коренные народы, но и от использования названной ситуации в качестве оттеняющего примера.

Объясняется такая осторожность тем, что дисциплинарные и междисциплинарные исследования социально-экономической, педагогической, историко-этнографической и иной направленности, спроецированные на рассматриваемую этноэкологическую проблему, часто являют собой пример технологического (индустриального) воздействия на предмет. Конечно, наряду с исследованиями классического дисциплинарного и междисциплинарного типа, существует традиция изучения духовной культуры коренных народов с более или менее глубоким авторским

погружением в ее контекст. Но и в этом случае существует опасность неадекватного прочтения и интерпретации этнического самосознания коренных народов в форме текста, а то и дискурса, в то время как традиционная культура этих народов не является ни текстовой, ни, тем более, дискурсивной в собственном смысле. И даже в тех случаях, когда исследователь укоренен в данной культуре, его инструментарий очень часто бывает либо насильно внедренным извне, либо заимствованным. Сказанное вовсе не означает, что указанные опасности непреодолимы и следует отказаться от изучения духовной культуры коренных народов и теоретической реконструкции этноэкологической ситуации, в которой они оказались. Речь всего лишь о том, какие выводы правомерно делать из подобного изучения. И поскольку позитивная перспектива развития региона состоит в его способности к постиндустриальной полиэтничности, то возникающие в связи с этим вопросы полностью вменяются в обязанность тем региональным сообществам, которые являются наследниками интенсивного индустриального освоения.

В таком случае и позитивная перспектива регионального этоса состоит, с одной стороны, в его диверсификации, учитывающей этническую пестроту региональных сообществ, а с другой, — в поисках того общего (здорового) смысла, который только и может объединить людей, живущих в одном месте и считающих это место своим.

| ЗАКЛЮЧЕНИЕ |

В работе предпринята попытка концептуализации понятия регионального этоса в трех основных измерениях, связанных с тремя этапами его становления. Первый этап условно можно обозначить как освоение отечественной культурой индустриального этоса. Второй — как формирование этоса нового индустриального освоения. Третий связан с процессом регионализации страны. Эти этапы неравнозначны. Они различаются как по длительности, так и по степени воздействия на отечественную культуру.

Наиболее продолжительным и драматичным был первый этап. Он отмечен целым рядом конфликтов между традиционной отечественной культурой и модернизационным потенциалом индустриального этоса. Для этоса данный период был временем испытаний, когда наиболее значимым для него стал фактор сохранения устойчивого ценностно-смыслового содержания.

На втором этапе происходила трансформация присущего этосу первоначального импульса при его внедрении в чуждую социокультурную среду. То есть в данном случае освоение выступает как преодоление отчуждения.

Третий этап — это своего рода драма регионализации. Здесь совпали и пространственные изменения на сцене общественной жизни страны, и драматизм ее исторической судьбы, и тревожные предвестники ее возможного распада. Регионы нового индустриального освоения оказались основными «действующими лицами» этой драмы, а разрушение былого морально-политического единства общества способствовало превращению их в субъекты региональной политики. Оно же стало предпосылкой формиро-

вания регионального этоса. Понятно, что в период регионализации страны процесс освоения наполнился совершенно иным содержанием и приобрел совсем другую направленность.

Наряду с тремя основными измерениями регионального этоса и соответствующими этапами его становления в работе рассмотрено соотношение этоса с тремя феноменами, определившими его трансформацию. Это уже упоминавшийся феномен освоения, а также этнический и экологический феномены.

Последние два, «кооперируясь» между собой, становятся основой этноэкологии — особого типа знания о взаимоотношении человека с окружающим миром в контексте традиционной культуры того или иного этноса. В парном сочетании с этосом они способны стать канвой для формирования экологической этики и этноэтики.

Что же касается феномена освоения, то он является сквозным для всех трех этапов и в указанном смысле может трактоваться как инвариант отечественной культуры. То есть, как уже отмечалось, история России — это история колонизаций–освоений (в том числе и космического пространства). Выступая вначале как присоединение территорий, как расширение пространства страны за счет внешних владений, колонизация предполагала их культурное освоение и хозяйственное присвоение.

Когда же речь заходит об освоении новой техники, о перевооружении производства на основе научно-технических, технологических, организационных достижений, то чаще употребляют слово *внедрение*. В нем присутствуют отголоски первоначального смысла — *проникновение в недра*. Значит ли это, что достижения научной и технической мысли, а порой и любые новшества приходится *внедрять* и тем самым с усилием преодолевать сопротивление косной, пассивной среды? Данные вопросы поставлены в работе и, будучи адресованы уже не столько индустриальному, сколько постиндустриальному этосу, вряд ли требуют немедленного ответа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апресян, Р. Г. Нравоперемена Ахилла. Истоки морали в архаическом обществе / Р. Г. Апресян. — М.: Альфа-М, 2013. — 224 с.
2. Богомолов, А. С. История древней философии: Греция и Рим / А. С. Богомолов. — М.: Прогресс, 1985. — 350 с.
3. Ганжин, В. Т. Нравственность и наука. К истории исследования проблемы в европейской философии / В. Т. Ганжин. — М.: Изд-во МГУ, 1978. — 142 с.
4. Гиппократ. Клятва. Закон о враче. Наставления / Гиппократ. — Минск: Современный литератор, 1998. — 832 с.
5. Губанов, Н. И. Ментальное и физическое пространство / Н. И. Губанов, Н. Н. Губанов. — М., 2016. — 144 с.
6. Гусейнов, А. А. Античная этика / А. А. Гусейнов. — 2-е изд. — М.: Либроком, 2011. — 256 с.
7. Еманов, А. Г. Между Полярной звездой и полуденным солнцем: Кафа в мировой торговле XIII–XV века / А. Г. Еманов. СПб.: Алетейя, 2018. — 366 с.
8. Ефимов, В. Т. Этология как учение о нравах и нравственности / В. Т. Ефимов. — М., 1992. — 268 с.
9. Загвязинский, В. И. Ценностно-ориентационных основаниях образовательной системы страны / В. И. Загвязинский // Образование и наука. — 2016. — № 6 (135). — С. 11–22.
10. Зотов-Матвеев, Н. Д. Об опасности смысложизненной катастрофы / Н. Д. Зотов-Матвеев // Духовно-нравственный потенциал России: связь поколений: IV Рождественские образовательные чтения: материалы Всерос. науч.-практ. конф. — Тюмень, 2005. — С. 232–240.

11. Иванов, В. Г. История этики Древнего мира / В. Г. Иванов. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. — 225 с.
12. Иванов, В. Г. История этики Средних веков / В. Г. Иванов. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. — 278 с.
13. Каган, М. С. Мир общения / М. С. Каган. — М., 1988. — 320 с.
14. Кант, И. Критика практического разума / И. Кант // Соч.: в 6 т. — М., 1965. — Т. 4. Ч. I. — С. 311–501.
15. Кобляков, В. П. Этическое сознание. Историко-теоретический очерк взаимодействия морального сознания и этических воззрений / В. П. Кобляков. — Л., 1979. — 224 с.
16. Лапин, Н. И. Антропосоциокультурный эволюционизм — метатеоретический принцип изучения сообществ людей / Н. И. Лапин // Социологические исследования. — 2018. — № 3. — С. 3–14.
17. Мечников, И. И. Этюды оптимизма / И. И. Мечников. — М., 2012. — 352 с.
18. Мур, Дж. Принципы этики / Дж. Мур. — М.: Прогресс, 1984. — 326 с.
19. Павлов, А. В. Философия современности и межвременья / А. В. Павлов. — Тюмень: ИД Титул, 2017. — 280 с.
20. Родоман, Б. Б. Мораль личности и мораль государств / Б. Б. Родоман // Философия и актуальные проблемы образования: история, современность и перспективы: сб. науч. тр. — Кострома, 2013. — С. 120–124.
21. Россия и ее регионы. Интеграционный потенциал, риски, пути перехода к устойчивому развитию. — М., 2012. — 492 с.
22. Сагатовский, В. Н. Бытие и мы / В. Н. Сагатовский, Ф. А. Селиванов. — Тюмень: Вектор-Бук, 2011. — 104 с.
23. Толстой, Л. Н. Так что же нам делать? / Л. Н. Толстой // Собр. соч.: в 22 т. — М., 1983. — Т. 16. — С. 166–399.
24. Федоров, Н. Ф. Сочинения / Н. Ф. Федоров. — М., 1982. — 711 с.
25. Федоров, Ю. М. Универсум морали / Ю. М. Федоров. — Тюмень, 1992. — 418 с.
26. Шафранов-Куцев, Г. Ф. Я сам торил свою тропу / Г. Ф. Шафранов-Куцев. — 2-е изд. — М., 2008. — 368 с.
27. Щербак, Ф. Н. Мораль как духовно-практическое отношение / Ф. Н. Щербак. — Л., 1986. — 174 с.

Научное издание

ГАНОПОЛЬСКИЙ Михаил Григорьевич

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТОС:
ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ**

Монография

Редактор	Ю. Ф. Евстигнеева
Компьютерная верстка	Е. Г. Шмакова
Печать электрографическая	А. Е. Котлярова, А. В. Башкиров
Печать офсетная	В. В. Торопов, С. Г. Наумов



Подписано в печать 21.12.2018. Тираж 500 экз.
Объем 8,84 усл. печ. л. Формат 60×84/16. Заказ 1048.

Издательство Тюменского государственного университета
625003, г. Тюмень, ул. Семакова, 10
Тел./факс: (3452) 59-74-68, 59-74-81
E-mail: izdatelstvo@utmn.ru